ЖАН-ФРАНСУА РЕВЕЛЬ

НИ МАРКС И НИ ХРИСТОС

ЖАН-ФРАНСУА РЕВЕЛЬ НИ МАРКС И НИ ХРИСТОС

НИ МАРКС И НИ ХРИСТОС

© Éditions Robert Laffont, 1970

tipografia sanpiodecimo - via etruschi, 7/9 - roma

ЖАН-ФРАНСУА РЕВЕЛЬ

НИ МАРКС И НИ ХРИСТОС

От Второй американской революции — ко Второй всемирной

перевел с французского
ВЛАДИМИР ЗЛАТКИН

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT
6, place Saint-Sulpice, Paris-6e
1975

СОДЕРЖАНИЕ

Жан-Франсуа Ревель и его книга о новой всемирной революции 9

1. Вторая американская революция 17
2. Пять предпосылок революции 24
3. Невозможность революции в коммунистических странах 31
4. Невозможность революции в Западной Европе 38
5. Франция: пример невозможности революции 54
6. Невозможность революции в третьем мире 77
7. От Первой всемирной революции ко Второй 91
8. Двухтысячелетний террор и конец международных отношений 96
9. От свободы к социализму: дорога с односторонним движением 108
10. Насилие и революция 121
11. Антиамериканизм и американская революция 135
12. Новая динамика революции 157
13. Революция информации 161
14. Соединенные Штаты — детонатор революции 188
15. Права и средства 192
16. Ни Маркс и ни Христос 203

ЖАН-ФРАНСУА РЕВЕЛЬ И ЕГО КНИГА О НОВОЙ ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Каждый понедельник в парижском журнале «Экспресс» появляется статья, которую внимательно читают люди самой различной политической ориентации. Обычно это анализ наиболее актуальных событий минувшей недели. Эти статьи пишутся Жаном-Франсуа Ревелем; они куда содержательнее повседневной актуальности. За анализом всегда видна напряженная, ищущая мысль автора, для которого событие — лишь внешний повод для серьезного разговора с читателем. Анализ Ревеля всегда касается сути проблемы или ряда проблем, сути событий, а не их видимой стороны. Широкая эрудиция, подкрепленная многолетними наблюдениями политической жизни, острота мышления и логическая четкость изложения делают статьи Ревеля неотразимо аргументированными и остро полемичными.

Жан-Франсуа Ревель родился 19 января 1924 года в Марселе. Образование получил в парижской «Эколь нормаль суперио» — одном из лучших гуманитарных

высших учебных заведений Франции. Ревель — *агреже* по философии, что соответствует степени кандидата наук. Он много лет занимался преподавательской деятельностью во французских лицеях Мексики, Флоренции, затем преподавал в Париже. С 1966 года Ревель постоянно сотрудничает в еженедельном журнале «Экспресс» в качестве ведущего обозревателя. В 1957 году вышла его первая книга «Почему философы?» о роли философии в современном мире. Широко известна его книга «О Прусте», посвященная философским аспектам творчества (1960 г.). Событием в развитии борьбы идей во Франции явилась работа Ревеля «Открытое письмо правым», написанная в 1968 году в связи с майскими событиями. Уже вышли в свет два из трех томов написанной Ревелем «Истории философии». Новейшим идеологическим и философским течениям посвящена книга «Идеи нашего времени» (1972 г.).

Для многих во Франции и за ее пределами книга Ревеля «Ни Маркс и ни Христос» явилась полной неожиданностью. Пожалуй, никто в Европе не рискнул бы даже и намекнуть на то, что уже в 1970 году, в самый разгар протестов против войны во Вьетнаме, в Америке возникли революционные настроения и даже революционное брожение, с которыми, по мнению Ревеля, связано будущее всего человечества. Более того, это движение уже начало революцию, исход которой должен решить вопрос: уцелеет ли человечество или погибнет. Что это? Парадокс журналиста или шутка насмешливого философа? Ведь во всем мире только и разговоров, что об «американском империализме», об «американской реакции», о «разгуле насилия» в Соединенных Штатах.

Нет, это не парадокс и не шутка. Это результат глубокого анализа, личных впечатлений и серьезных исследований. Счастливое сочетание широких знаний с мастерством публициста и рассудительностью философа помогло Ревелю увидеть в американской

действительности те глубинные процессы, которые до него оставались скрытыми за пестрыми, с калейдоскопической быстротой и разнообразием меняющимися событиями в Америке нашего времени. Вглядевшись в эти события, Ревель обнаружил причины и источники тех штампов, которые в нашем представлении неизменно связываются с Соединенными Штатами Америки. И именно потому, что этот взгляд на Америку был непредубежденным взглядом философа, не верящего ни в штампы, ни в догмы, картина, которую создал Ревель-публицист, приобрела убедительность документа.

В чем суть этой картины? На этот вопрос, как и на многие другие, отвечает сама книга, с которой теперь может познакомиться и русский читатель. Хотелось бы лишь очень бегло отметить одну из важных сторон этой книги. В своем анализе революционного процесса в Америке Ревель наглядно показывает неизбежность всемирной революции, революции совершенно новой, которая коренным образом изменит существующее устойство мира. Только революция, полностью ликвидирующая искусственную разделенность человечества на государства, сможет разрешить основные противоречия нашего времени, дать практические решения проблем, в тисках которых задыхается современное человечество. Не отказ от современной цивилизации, а изменение ее, использование научно-технического прогресса в сочетании с прогрессом будущего, с коренной ломкой существующих моральных, культурных и политических норм — вот путь, по которому, считает Ревель, развивается сегодня Вторая мировая революция. Именно эти ее черты сумел разглядеть автор настоящей книги в сегодняшних Соединенных Штатах Америки.

В исследовании Ревеля-философа важную роль играет метод сравнительного анализа. Он позволяет Ревелю-публицисту обращать внимание читателя на скрытые от беглого взгляда противоречия теории

и практики, обнаруживать диалектические связи, погребенные под наслоениями идеологий. В результате такого анализа ясно вырисовывается картина духовного омертвения традиционных и «новаторских» групп и партий европейских левых движений, все более тяготеющих к узкому национализму, прожектерству и псевдореволюционности. Отчетливо выявляется и картина превращения коммунистических партий — как правящих, так и не находящихся у власти — в реакционную силу, тормозящую современный революционный процесс.

От внимательного наблюдения Ревеля не ускользает и тот факт, что сам по себе современный революционный процесс — явление, не укладывающееся в рамки традиционных представлений о революции, — еще не сформировался окончательно, еще не обрел того масштаба, который необходим для победы Второй мировой революции. Ревель лишь анализирует основные тенденции и направления этого процесса, какими он их видит в современном мире, в Соединенных Штатах Америки, где они, по мнению автора, возникают и проходят первые испытания.

Среди сил, которым Ревель отводит едва ли не главную роль в грядущей революции, следует выделить движения протеста. Возникнув и получив свои первые организационные формы в США, движения диссидентов стали характерной чертой нашего времени. Нам известны многочисленные примеры поражений этих движений как в странах с авторитарными режимами, так и в демократических странах. Но известны и примеры побед: американское правительство вынуждено было вывести свои войска из Южного Вьетнама в результате непрекращавшейся борьбы американских диссидентов, которая охватила все слои общества и грозила перейти в открытый мятеж. И здесь анализ Ревеля подтвердился: окончание войны во Вьетнаме было тем требованием, вокруг которого объединились самые различные силы амери-

канских диссидентов, и в этом автор видел реальную возможность их успеха еще тогда, когда сама война казалась бесконечной.

Но дело не в том, насколько оправдались те или иные выводы Ревеля; главная его заслуга в том, что он создал — впервые — модель новой всемирной революции, которая заслуживает самого пристального внимания всех, кто ищет путей в будущее человечества.

Владимир Златкин

«Тито» Коэну, марокканскому еврею, специалисту по Корнелю, гражданину Соединенных Штатов Америки.

1. ВТОРАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Революция двадцатого века произойдет в Соединенных Штатах. Только там она и может произойти. Она уже началась. И эта революция распространится на весь мир только в том случае, если она первоначально одержит победу в Северной Америке.

Я знаю, какое удивление и недоверие способны вызвать эти утверждения у европейских «левых» всех мастей и в странах третьего мира. Как? Родина империализма, страна — виновница войны во Вьетнаме, нация «охотников за ведьмами» в эпоху маккартизма, эксплуататор мировых природных богатств — колыбель революции? Мы настолько привыкли думать, что революция может произойти только против Соединенных Штатов, привыкли определять революционный прогресс мерой отступления американской мощи и наоборот. Так как же мы можем признать двусмысленный, неточный характер этой чудесной мерки, признать разлад в системе наших привычных ориентиров?

Со времен холодной войны для всякого революционера, для всех левых элементов планеты политический облик мира очень прост. Надежды возлагаются то на Китай, то на Кубу, то на взрыв в духе «французского мая 1968 года» в Западной Европе, то на партизан Латинской Америки, то на большой подъем народов

слаборазвитых стран, которые придут и передушат в их собственном доме откормленных богачей, обрекающих их на голодную смерть. Учитываются все возможности, кроме одной: революция может начаться именно в этой постыдной стране, в гнезде контрреволюции — в Америке. Ведь мир делится на две части: с одной стороны Америка, оплот реакции, а с другой — все остальные, объединенные в противостоящий Америке лагерь, по сути своей революционный, в который входит и промежуточная категория государств-гибридов, в той или иной степени являющихся сообщниками Америки. Это сообщничество — проявляющееся, например, через «атлантизм» — имеет несколько степеней: полное у Западной Германии и Англии, оно несколько меньше у Франции и Италии. Последние две страны автоматически занимают более «левую» позицию, чем первые две, если отбросить в сторону все прочие соображения или считать их второстепенными по сравнению с главным — степенью «атлантизма».

Совершенно очевидно, что в основе такого деления мира лежит противоположность между капитализмом и социализмом. «Революция» означает «прогресс социализма», поэтому логично заключить, что наиболее сильная среди капиталистических стран отступит в последнюю очередь под натиском социализма. Так как империализм есть неизбежное следствие капитализма, совершенно ясно, что развитие Соединенных Штатов в сторону революции возможно лишь под воздействием извне. Другие народы, может быть, и менее процветают с точки зрения экономики и техники, потому что они не столь хищны, зато им может служить утешением обладание монополией на революцию. Революционный дух и антиамериканизм — равнозначны, а американское влияние — это неотъемлемое следствие империализма: вот что служит поистине универсальной точкой зрения при оценке любых ситуаций в любом пункте планеты. С другой

стороны, для сохранения последовательности данной системы взглядов необходима уверенность в том, что в самих Соединенных Штатах никакая революция невозможна. Или, выражаясь точнее, там не может произойти ничего, кроме неизбежного усиления реакции. Этот тезис ведет к следующему выводу: Америка является полицейским государством, которое если и дает некоторые видимые свободы, то только потому, что невидимого манипулирования общественным мнением через массовые средства информации, облегчаемого хорошо известным конформизмом граждан, вполне достаточно для обеспечения существующего порядка.

Я не ставлю здесь своей целью напоминать эти общеизвестные аргументы, а хочу лишь выяснить, почему все еще принимаются на веру следующие из них выводы, тогда как каждый из этих аргументов неоднократно опровергался, критиковался или, по меньшей мере, получал совершенно иную окраску по милости тех, кто ими пользуется. Как же возможно, что то, что ошибочно в деталях, остается верным или принимается за верное в целом?

Фактически Советский Союз за последние двадцать лет полностью перестал служить центром, из которого исходил революционный импульс, и потерял возможность формулировать революционные планы, какой бы словесной гимнастикой он ни оправдывал свой милитаристский и полицейский режим. Маоистский Китай служит образцом отдельным западным гошистам, да и то скорее чисто риторически. Содержание «Маленькой красной книжки» мало чем связано с реальным положением промышленно развитых стран, точно так же как оно мало соответствует положению слаборазвитых стран Латинской Америки, Африки или Ближнего Востока. Китай — скорее центр абстрактного эмоционального импульса, не имеющий ни теоретического, ни практического влияния. «Социалистические» страны третьего мира, как например Алжир, Египет,

Нигерия, Конго (Браззавиль), Сирия, социалистические только по названию: даже приняв во внимание серьезные проблемы, стоящие перед этими странами, нередко приходится констатировать, что здесь мы чаще имеем дело с олигархиями. Теперь уже неизвестно, оправдываются ли их диктатуры требованиями «строительства социализма» и «борьбой против империализма» или же необходимостью скрывать собственные провалы и заставлять население «принимать» постоянно снижающийся уровень жизни. О чем идет речь — о первых шагах этих стран на пути к социализму или же о национализме, который используют новые феодалы и которым манипулируют Советский Союз и Китай во имя социализма? Каким бы ни был ответ, совершенно ясно, что эти вопросы следует ставить со всей серьезностью. И это уже само по себе не позволяет безоговорочно утверждать, что молодые «социалистические» государства третьего мира или страны, следующие их путем, являются квинтэссенцией революции.

К тому же само понятие «социализм» весьма запутано и служит предметом полемических и доктринерских дискуссий. Политики и теоретики, объявляющие себя сторонниками социализма, столь мало сходятся в оценке его подлинного содержания, что трудно сделать окончательный выбор того или иного термина в альтернативе: капитализм — социализм, как если бы каждый из них соответствовал ясной и строго определенной реальности. Характерны путаные и яростные идеологические бури вокруг «шведского социализма». Говорят, он не имеет морального права делать шведов более процветающими, более информированными, более «равными», чем чехов или поляков, потому что в Швеции не чистый социализм, а капитализм при социалистическом правительстве. Вся эта чернильная война достаточно ясно иллюстрирует сложность спора, зачастую носящего абстрактно-теоретический характер. Подобные споры свидетельствуют, во всяком случае, о невозможности принимать буквально прямую

противоположность двух способов производства — один совершенно белый, а другой совершенно черный, — чтобы утверждать, что революционная деятельность состоит в безоговорочной поддержке «лагеря социализма» против «лагеря капитализма».

Строгий анализ событий, происходящих внутри этих двух групп, обнажает вместо навязанных пропагандой и увековеченных в закоснелых умах «основных форм» некую совокупность сил, которые зачастую не соответствуют друг другу в пределах рассматриваемой социально-политической системы, но которые в то же время совпадают с определенными силами системы противоположной. Разве с некоторых пор не считаются «революционными» следующие одно за другим восстания населения в странах народной демократии против подчиненного Москве государственного аппарата? И разве не считаются «фашистскими» методы, которыми Россия эти восстания подавляет? Разве советский автор Андрей Амальрик в книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» не утверждает, что в СССР к этому времени произойдет «революция»?

С другой стороны, не поразителен ли тот факт прошедшего десятилетия, что единственные революционные волнения совершенно нового характера, которые потрясли весь мир, исходили из Соединенных Штатов? Единственное поистине оригинальное современное революционное новшество — это ряд оппозиционных или подрывных явлений, получивший название «движение диссидентов», которое возникло в Соединенных Штатах. Движения этого типа, взбудоражившие Западную и даже Восточную Европу, являются имитацией или продолжением движения, возникшего в США, во всяком случае, они появились позже. В 1964 году в Бэркли вспыхнули первые студенческие волнения, носившие неизвестный дотоле характер. Эти волнения быстро охватили всю страну, а потом распространились на Европу и на третий мир. Еще раньше имели место первые студенческие забастовки,

первые «сидячие» забастовки 1960 года в университетах Юга против расовой дискриминации и в поддержку движения ненасильственных действий Мартина Лютера Кинга. «Движение диссидентов», — распространялось ли оно в различных частях мира или возникало там стихийно, складывалось и совершенствовалось в Соединенных Штатах. Этот беспрецедентный революционаризм, этот вездесущий и неуловимый радикализм, всеобъемлющий и блуждающий бунт делают правительство беспомощным, поскольку трудно реагировать на него посредством классических репрессивных методов. Европейские диссиденты — единственная сила старого континента, которая смогла заставить как левых, так и правых, как Восток, так и Запад выйти из их академического оцепенения, были учениками американских диссидентов.

Инакомыслящие студенты, конечно, не единственная группа или течение, негативизм и натиск которых характеризуется все возрастающей непримиримостью; есть еще движение негров и движение за эмансипацию женщин. Не дремлют в ожидании и силы, использующие более классические формы борьбы, как показала забастовка 133 тысяч работников фирмы «Дженерал Электрик» зимой 1969-1970 года, продолжавшаяся тринадцать недель; забастовка закончилась заключением коллективного договора сроком на три года и четыре месяца, предусматривающего ежегодное повышение зарплаты на 8%. Забастовка «Дженерал Электрик» считалась самым серьезным социальным движением в США с 1930 года. А подобного забастовке почтовых служащих в марте 1970 года, охватившей всю страну, вообще не было в американской истории. Никогда прежде почтовая система не оказывалась полностью блокированной на всей территории США — подлинное значение этого явления можно понять, если учесть, что территория шести стран европейского общего рынка составляет лишь одну восьмую часть территории Соединенных Штатов.

Пока еще трудно предсказать, победит ли движение диссидентов или потерпит поражение, разовьется ли оно в строительство нового общества или, наоборот, облегчит триумф авторитарной реакции. Оно может завязнуть в духовной нищете и, вместо достижения реальных изменений, замкнуться в нарциссизме типа «преследуемый-преследователь» и превратиться в периферийное брожение, без особого ущерба сносимое промышленно развитым обществом. Оно может стать либо рычагом нового социального устройства, либо постоянным прибежищем разного рода уклонистов.

Тем самым в значительной степени разрешится вопрос, будет ли «Вторая американская революция» началом Второй всемирной революции, придет ли она к положительному разрешению хотя бы на своей собственной территории.

Однако на современном этапе можно говорить о том, что движение диссидентов уже породило один из тех эмоциональных сдвигов, без которых нет и не может быть революционного взлета. Используя выражение негритянского активиста Элдриджа Кливера, живущего сейчас в Алжире, «не будет преувеличением сказать, что судьба всего человечества зависит от того, каким образом Америка разрешит стоящие сегодня перед ней проблемы. Вопрос номер один современного мира заключается в том, пойдет ли она налево или направо».[1]

[1] Цит. по книге Ф. и С. Масната «Власть, общество и политика в Соединенных Штатах», Париж, 1970, стр. 5.

2. ПЯТЬ ПРЕДПОСЫЛОК РЕВОЛЮЦИИ

То, что единственное новшество за прошедшее десятилетие, а может быть, даже и со времен Второй мировой войны, — гражданское неповиновение — возникло в Соединенных Штатах, уже само по себе показательно. Однако одного этого явления еще недостаточно, чтобы говорить о Второй американской революции, и еще менее достаточно, чтобы говорить о революции всемирной; для революции необходимы и другие фундаментальные предпосылки, проявившиеся или могущие проявиться в ходе развития движения диссидентов в Соединенных Штатах. Революция, если пользоваться языком антропологии, есть «всеобъемлющий социальный факт». Она затрагивает все без исключения аспекты цивилизации; в точном смысле «революционная ситуация» предполагает, что во всех областях цивилизации готовы или готовятся новые решения на замену старых.

Для реального возникновения революционного процесса необходимы, на мой взгляд, пять основных предпосылок. Необходимо завершение критической работы в пяти различных, но взаимосвязанных направлениях, причем слово «критическая» в данном случае имеет одновременно как теоретический, так и практический смысл.

С одной стороны — эта критика интеллектуальна, она отрицает и высмеивает установленный порядок, разоблачает его скверное функционирование, пред-

лагает реформы; с другой стороны — она активна, иначе говоря, представляет собой нечто противоречивое, изобретение способов сопротивления и нападения. Истории известен длинный перечень таких способов: от использования существующей юридической практики (требование роспуска ассамблеи, требование созыва Генеральных Штатов в 1788 году[1] и т. д.) до вооруженного восстания. Между этими крайностями — множество различных акций, таких, как стачки, бойкоты, петиционные и банкетные кампании (1848 год), отказ платить налоги, шествия, революционные «дни», уличные баррикады, похищения людей, угон самолетов и т. д. Но 14 июля 1789 года[2] не стало бы началом революции, если бы дело происходило в Софии. Все эти меры становятся революционным действием только в сочетании с общей революционной стратегией. Ни одна из них не имеет самостоятельной ценности, если новая организация общества не готова заменить старый общественный порядок, иначе говоря — без осуществления пяти предварительных условий, без достаточно глубокой разработки новых решений в пяти следующих областях:

1. – Критика *несправедливости* в экономических, социальных и, наконец, расовых отношениях.

2. – Критика *управления* или эффективности. Эта критика направлена против разбазаривания материальных и людских ресурсов; она связана с вышеуказанным направлением и свидетельствует о следующем: несправедливость ведет к плохой организации, непроизводительности и расточительности. Она также выдвигает обвинение в переориентации технического прогресса на бесполезные или вредные для человека цели.

[1] Этим фактом было отмечено начало Великой французской революции.

[2] День взятия Бастилии восставшим народом Парижа.

3. – Критика *политической власти*. Иногда она направлена на источник и принцип власти, иногда на методы осуществления власти, на условия, в которых власть осуществляется, распределяется или монополизируется; эта критика направлена на локализацию центров, ответственных за принятие решений, на последствия этих решений для граждан и на трудность или невозможность для них участвовать в принятии этих решений.

4. – Критика *культуры*: морали, религии, преобладающих убеждений, обычаев, философии, литературы, искусства; критика лежащих в их основе идеологических отношений; критика *функций* культуры и интеллигенции в обществе, а также *распределения* этой культуры (преподавание, информация, распространение).

5. – Критика отживающей *цивилизации-тормоза*, защита индивидуальной свободы. Эта критика направлена на отношения между обществом и личностью, причем личностью не в ее гражданском смысле, а в ее индивидуальности, тогда как общество берется в качестве средства обезличения или калечения личности, в качестве средства нивелирования. Она вскрывает неспособность общества бороться с бедностью, скудость определяемых им человеческих взаимоотношений (агрессивность вместо братства), униформизм создаваемых этим обществом человеческих типов (конформизм); в целом эта критика направлена против ограничений граждан обществом, против тех препятствий, которые оно воздвигает на пути развития личных возможностей и индивидуальностей. В этом контексте революция предстает как освобождение творческой личности и пробуждение личной инициативы в противоположность «замкнутым горизонтам», атмосфере тягостного разочарования и уныния в репрессивном обществе.

Если мы в качестве примера рассмотрим период,

предшествовавший Французской революции, мы обнаружим, что в нем присутствовали все пять перечисленных выше условий и что в предыдущие три четверти столетия уже были сформулированы соответствующие решения по каждому из них. В конституционной, экономической и образовательной областях, в отношениях между государством и церковью, в том, что касается разводов, роли искусства и театра в обществе, в уголовном праве, в гражданской и военной службе, в области печати, в торговле, в организации университетов — во всех этих областях исследования способствовали развитию знаний, возникновению новых отраслей его, как, например, политической экономии. Были накоплены данные, предполагавшие преобразование общества и его политического ориентирования, зачастую в мельчайших подробностях. Именно этим объясняется та быстрота, с которой протекала законодательная работа Учредительной ассамблеи. Эта и последовавшая за ней ассамблея в течение двух лет смогли обрисовать новое государство со всеми его административными деталями, создав все те учреждения и концепции, которые последующие режимы во Франции использовали, несмотря на отдельные неудачи, почти до самого конца девятнадцатого столетия.

Революции не импровизируются; точно так же они не происходят в рамках доктринальной жесткости. В отличие от путаника, предполагающего все изобретать на месте, «по ходу дела», во время своего рода диалога глухих или публичного самобичевания, в отличие от догматика, озабоченного главным образом тем, чтобы революция соответствовала той или другой предшествовавшей ей революции и происходила «по правилам», подлинный революционер готовит революцию, благодаря чему дверь остается открытой для инициативы каждого, причем инициатива эта применяется со всей точностью, технически компетентно; она никогда не применяется приблизительно. В данном случае на долю коллективного вдохновения приходятся

основные концепции исторического развития. Что же касается средств их осуществления, то они рассматриваются спокойно, реалистически. В революциях, потерпевших крах, напротив, общие концепции остаются как бы застывшими, определенными слишком точно, а их реализация, расплывчатая и нерешительная, не приводит к изменению действительности. Неудачная революция, таким образом, интеллектуально бюрократична и непрофессиональна в исполнении.

Особенно важно второе «основное условие», призванное обеспечить решение экономических и технических проблем, решение, которое приведет к большей эффективности, чем при уничтожаемой системе. Для экономистов восемнадцатого столетия дворянское землевладение представлялось несправедливым и бесперспективным. Та революция, которая не влечет за собой технических преимуществ и более совершенного управления, чем при существовавшем режиме, обречена на поражение. В конечном итоге такая революция ведет к слаборазвитости государства и оказывается неспособной осуществить то, что она обещала. И здесь ей предстоит сделать выбор: либо уступить свое место, либо сохранить находящихся у власти руководителей посредством диктатуры.

Пять перечисленных мною аспектов неразрывно взаимосвязаны. Это — аспекты одной и той же реальности, и если нет хотя бы одного из них, тогда революционная ситуация либо неполная, несостоятельная, либо ее вообще не существовало.

Что же касается четвертого и пятого условий, то необходимо иметь в виду, что критика систем морали и культуры имеет значение только в том случае, если она в значительной мере исходит из среды самого правящего класса. Все революционные течения — и те, которые достигнут своей цели вскоре, и те, для которых это далекая перспектива, — имеют одну общую черту: какая-то группа людей, пользующихся благами существующего порядка, отделяется от своего класса и предает

его изнутри. Так было с частью аристократии в эпоху просвещения и с буржуазией девятнадцатого века. Нужно было быть аристократом, чтобы обличать деградацию и безобразия придворной жизни, нужно было быть буржуа, чтобы ввести читателя в отвратительный мир буржуазной морали. Эта идущая сверху критика направлена против наиболее изощренных проявлений цивилизации и указывает на недостатки системы; она совершенно необходима с точки зрения даже тех, кто пользуется ее благами. Именно аристократы и буржуазия восемнадцатого века, а отнюдь не крестьяне, имели возможность критиковать религию, и без этой критики религии революция не произошла бы. Только аристократы и первые буржуа могли осознать необходимость отмены нерасторжимости брака, но никак не крестьяне; и все же развод стал одним из требований революции. Современных бунтарей часто упрекают в том, что они буржуа: так оно и есть и не может быть иначе. Их функция в революционном движении — осознать несостоятельность образа жизни той среды, где этот образ жизни считается вполне благополучным, и доказать, что существующая система оказалась неспособной обеспечить обещанного процветания.

Наконец, моделью всемирной революции может быть революция только в таком обществе, где дискуссия противостоящих друг другу партий имеет место на высшем уровне, охватывающем главные силы экономики, политики, науки, администрации, техники и культуры, промышленности и средств информации, морали и литературы. Эта дискуссия должна включать столкновение между интеллектуалами-революционерами и интеллектуалами-реакционерами. Только при таких условиях она становится «диалектической» и порождает революцию: не просто местный «дворцовый переворот», пусть даже народный, а революцию, которая может служить прототипом нового общества.

Моя гипотеза состоит в том, что если совер-

шится Вторая всемирная революция, то она начнется только в Соединенных Штатах Америки. Эта гипотеза основана на следующих соображениях:

а. – Такая революция не произошла в коммунистических странах и не может там произойти, ни в СССР, ни в Китае.

б. – Она не может произойти в Западной Европе, по крайней мере прежде, чем произойдет американская революция. (Это относится и к Японии, что будет рассматриваться отдельно.)

в. – Эта революция не может произойти в развивающихся странах или в странах третьего мира. Наоборот, она должна произойти в США прежде чем где-либо.

Эти три негативных заключения необходимо доказать. Но если окажется, что они верны, то из этого еще не будет обязательно следовать, что революция, о которой мы говорим, все-таки свершится в Соединенных Штатах. Именно поэтому нужно еще рассмотреть вопрос *почему* революция в полном смысле этого слова может произойти только в Америке, даже если она не неизбежна, даже если она может оказаться неудачной, как *и большинство революций*: удачные революции чрезвычайно редки в истории.

3. НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ В КОММУНИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Никто сегодня, даже среди коммунистов западных стран, не считает всерьез Советский Союз революционным образцом для остального мира. Периодически и неуклонно рушились надежды на «социализм с человеческим лицом» и на стихийную либерализацию советского режима. Одновременно с этим постоянные трудности в экономической области делали тоталитарный режим СССР все менее и менее приемлемым. Теперь уже невозможно оправдывать подавление свободы требованиями «производственной дисциплины», особенно после того, как стала известна характерная для советского производства расточительность и неэффективность.

Китай Мао Цзе-дуна отверг «экономизм», но народ его не обрел свободы. Так называемая «культурная революция», которая представляется главным образом в виде гигантской чистки, сопровождавшейся в отдельных случаях вспышками коллективного садизма, оставила в неприкосновенности или даже усилила политическую диктатуру режима и его всесильный пропагандистский аппарат. Бессмысленно утверждать, что эффективность экономики в слаборазвитой стране не

имеет первостепенного значения, особенно в том случае, если возведенный в принцип аскетизм не уравновешивается правом на развитие личности, а наоборот, всячески усиливается все более жестоким моральным, интеллектуальным и физическим террором. Более того, аскетизм в коммунистических странах — это не экономия капиталовложений, не плановая и последовательная бережливость, вызванная, как нас хотят убедить, «первоначальным социалистическим накоплением»; это скорее состояние анархической бедности — последствие неэффективности производственного организма, которым плохо управляют. Что касается «первоначального социалистического накопления», Советский Союз в настоящее время заимствует капиталы у японских банков (то есть — у американских) и приглашает Форда построить, разумеется за его счет, автомобильный завод в России. Иными словами, Советский Союз претендует на роль жертвы неоколониализма.

Эти признаки неудачи в большей или меньшей степени признают все. Но даже среди европейских левых, традиционно благоволящих к Советскому Союзу и Китаю, довольно редко можно встретить таких, которые всегда готовы утверждать, что всякая экспансия СССР — это прогресс социализма в мире или что китайская система — готовая к экспорту модель «социализм плюс свобода». Некоторые студенты считают себя маоистами, коль скоро они отрицают всякую власть и требуют полной свободы личности, что показывает, насколько плохо они осведомлены о состоянии современного китайского общества. В общем и целом, большинство воинствующих социал-коммунистов и сочувствующих им или, по крайней мере, те из них, кто обладает непредвзятым умом и имеет хоть минимальный доступ к информации, постепенно вынуждены были признать, открыто либо мысленно, что с революционной точки зрения марксистско-ленинские государства — это провал. Теперь уже невозможно поддерживать тезис о том, будто социализм может развиваться без одновремен-

ного развития свободы, и особенно — свободы слова. Это опасный путь, и мы уже видели, куда он ведет. Но отказавшись от этого тезиса, мы неизбежно должны отказаться и от «демократического централизма», то есть, иначе говоря, от советского и китайского пути. Вполне уместно поставить вопрос: можно ли называть системы управления экономикой, существующие в СССР, в Китае, в Югославии и на Кубе, социалистическими и возможен ли социализм в экономике без политической демократии? Можно ли назвать социализмом полную или частичную коллективизацию, при которой граждане лишены права проявлять личную инициативу, контролировать, критиковать, участвовать в принятии решений, лишены какой бы то ни было власти? Разве это социализм, если важнейшие решения, зачастую приводящие к колоссальным ошибкам и определяющие судьбы многих поколений, принимаются меньшинством и навязываются большинству в авторитарном порядке? Можно ли сегодня считать «социалистическим» репрессивный дирижизм хотя бы в чисто материальной сфере, ведущий к экономической отсталости? Пора уже понять урок, который достался очень дорогой ценой: экономический социализм не может существовать в атмосфере политической диктатуры. Попытки совместить эти два явления приводят к карикатуре на социализм, если не к трагедии. Югославия, с которой марксисты, не согласные со Сталиным, связывали столько надежд, подтвердила этот принцип, так и оставшись экономически неэффективной и политически репрессивной. А Куба, через десять лет после победы Фиделя Кастро, все еще барахтается в трясине авторитарной отсталости.[1] Наиболее консервативно такое положение можно

[1] См. по этому поводу: Рене Дюмон, «Является ли Куба социалистической страной?» Париж, 1970, и К. С. Кэрол, «Партизаны в действии», Нью-Йорк, 1970.

охарактеризовать утверждением: «социализм пока еще не был построен нигде в мире». К этому можно добавить, что в любом случае СССР — наименее вероятная страна, где может быть построен социализм; этот же прогноз (скорее всего безошибочно) можно отнести и к Китаю. Если уж быть окончательно безжалостным — события октября 1917 года в России не были началом и не могут служить образцом победы социалистической революции во всемирном масштабе.

Если социализм, «с человеческим лицом» или без такового, так и не был нигде осуществлен, то глупо продолжать механически ссылаться на «социалистический лагерь» и на «империалистический лагерь», как если бы революционное действие было простой проблемой техники или транспорта, по признаку которой максимальное число государств или политических режимов зачисляются в один лагерь в ущерб другому. Более того, такой подход предполагает, что только капиталистическая экспансия является «империалистической», тогда как социалистическая экспансия таковой якобы не является. Таким образом, получается, что только капиталистические страны стремятся к усилению своего влияния в международной жизни с тем, чтобы укрепиться в качестве географических реальностей. Если быть беспристрастным в своих суждениях, правда выглядит иначе: и те государства, которые принято называть капиталистическими, и так называемые «социалистические» государства примерно в равной мере наделены духом империализма. Я оставляю в стороне такие очевидные примеры, как вторжение Китая в Тибет или СССР — в Чехословакию, архаичные в своей прямо-таки гитлеровской простоте и не заслуживающие даже сравнения с утонченными методами современного империализма, стремящегося, по возможности, избегать прямого военного завоевания. Более показательно (с точки зрения зрелого империализма) советское присутствие в арабском мире Ближнего Востока, использующее реальные проблемы

этих стран посредством помощи им в их войнах (а точнее, путем подталкивания к этим войнам), что соответствует давним экспансионистским устремлениям России в этом районе земного шара.

Аналогичной является и та ненависть, которая существует между СССР и Китаем и которая может быть только результатом противоречивости интересов двух империалистических государств в общей для них сфере влияния, например — в Черной Африке. Было бы бессмысленно утверждать, что эти проникновения в другие государства не есть проявление империализма только потому, что они сопровождаются идеологической пропагандой. Уместно вспомнить, что во имя идеологии — христианства — в шестнадцатом столетии была завоевана Латинская Америка и что в то время принципы христианства применялись там столь же редко, как принципы социализма применяются сегодня в Африке. Точно также во имя идеологии, так и оставшейся чисто теоретической, во имя «республиканизма» и «прогресса» строила Франция свою колониальную империю между 1880 и 1914 годом. По иронии судьбы идеологические доводы Франции, провозглашенные при этом, не так уж далеки от коммунистических. Маркс обличал жестокие методы европейских держав (особенно те, которыми Англия действовала в Индии) при захватах ими территорий и прав торговли в Азии. Но он считал, что в конечном итоге это развитие колониализма представляет собой прогресс цивилизации, ибо он пробуждает народы Азии от исторической спячки и подталкивает их к участию «в главном потоке исторического развития».[2] Было бы ошибочным делать вывод, будто только капитализм проявляет признаки империализма или что СССР и Китай абсолютно неспособны использовать свои

[2] Б. Вульф, «Марксизм: сто лет существования доктрины», Нью-Йорк, 1964, стр. 36.

системы союзов для укрепления собственных экономических, политических и военных интересов за счет более слабых государств. Отсюда я делаю вывод, что и во внешней политике коммунистических стран произошли изменения, не более «революционные», чем в их внутренней политике.

За последние пятьдесят лет, казалось, все дороги ведут к упрочению социализма. Все, за исключением той, которую принято называть социалистической. И причина совершенно очевидна: если Вторая всемирная революция должна создать подлинное равенство людей, если она должна дать им такие политические средства, с помощью которых они смогут сами решать проблемы, от коих зависят их судьбы, тогда концентрация всех видов власти — политической, экономической, военной, технической, юридической, конституционной, власти в области культуры и информации — в руках олигархии или в руках таких личностей, как Сталин, Тито, Кастро, либо в руках монархии представляет собой наименее приемлемый способ осуществления подобной революции. Фактически при вышеупомянутых режимах качества, требуемые для «героического» завоевания, а в дальнейшем и для сохранения власти, не имеют, к сожалению, ничего общего с качествами, необходимыми для рационального решения подлинных проблем современного общества. Вполне логично, что эти столь необходимые качества следуют из естественного стремления к сохранению — все более и более надежному — захваченной власти, а решения, жизненно необходимые обществу, отыскиваются все реже и реже. Власть, таким образом, укрепляется, но компетентность ее неизбежно снижается.

Так как никакая критика, способная повлиять на этот неизбежный процесс, не допускается, происходит соскальзывание в сторону общества, которое все больше подчиняется команде и все меньше — управлению. В таких условиях вопрос о том, какое из обществ

или какая социальная система лучше или хуже, не имеет абсолютно никакого смысла. Если отрезать человеку руки и ноги, то уж неважно, кем вы его назовете — футболистом или регбистом. А себя вы даже можете назвать спортивным хроникером. Приходится признать, что политическое поле нашей планеты более чем достаточно насыщено спортсменами такого жанра, а трибуны — такого же типа хроникерами.

4. НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Принимая во внимание серьезность и сложность целей, которые необходимо достичь, тонкость методов и обилие требуемых ресурсов (начиная с экономического изобилия и кончая культурным уровнем каждого гражданина), не представляется вероятным, что Западная Европа способна возглавить всемирную революцию.

Несомненно, Западная Европа располагает завидным уровнем жизни и прекрасными экономическими перспективами, однако ключ к ее будущему процветанию находится в США. За исключением Англии, ни одна европейская страна не способна на проявление инициативы всемирного значения в области новейшей техники. Таким образом, Западная Европа не может дать тех фундаментальных решений, которые требуются для Второй всемирной революции, или, по крайней мере, внести такой вклад в эти решения, который был бы для ее собственного населения матрицей будущей цивилизации. И в этом заключено главное. Революция — это не просто вопрос техники будущего. Однако без прогрессивной техники революция не может осуществить на практике своих решений.

В последней комедии Карло Гольдони «Последняя ночь карнавала», поставленной в Венеции накануне эми-

грации автора во Францию, герой, объявляя о своем решении эмигрировать в одну из европейских столиц, объясняет его тем, что «именно там все происходит». Интуиция позволила Гольдони через своего героя — художника-прикладника (по пьесе он занимается разрисовкой модных тканей) показать страх перед возможностью оказаться в стороне от того места, где «все происходит». Это ощущение имеет огромное значение. Существуют такие общества, где господствует убежденность в том, что «здесь ничего не может произойти», ибо как только делается попытка к нововведению, его «притормаживание» происходит совершенно автоматически. Его не замечает статистика, оно не находит отражения в плане, а историки даже не затрудняются в нем разобраться, потому что, не фигурируя в официальных докладах, явление это существует скорее как социальный импрессионистский «воздух» в журналистских репортажах, а не как научный факт, отраженный в документах.

Однако наблюдатель легко отмечает разницу в поведении отдельных людей, так же как не сложно заметить изменение цвета листьев на дереве — белый или зеленый — при смене направления ветра. В одном случае члены общества считают себя главной силой на пути к прогрессу и убеждены, что могут изменить свое положение, постепенно улучшая окружающую среду. В другом же случае члены общества полагают, что, только преодолев препятствия, они могут улучшить свое положение. Это чувство вызывается определенными причинами (административный упадок, экономический фаворитизм, политические махинации), но и оно само, в свою очередь, превращается в первопричину такого положения вещей.

Это последнее из отмеченных ощущений не является господствующим для Западной Европы, как это имеет место в восточноевропейских или некоторых слаборазвитых странах: Европа значительно переменилась за последние двадцать лет и все еще про-

должает настолько быстро меняться, что у нее мало оправданий для этой крайней формы индивидуальной беспомощности. Но одновременно в значительной мере ослабла и уверенность европейцев в их собственной *способности найти прототипы культуры* и политического общества будущего. Они верят в свою способность более или менее безболезненно приспособиться к революционным изменениям и следовать им, но не вырабатывать и формулировать их. Они ощущают свою «вовлеченность», но идет ли речь о приверженцах капитализма или о сторонниках марксизма, их претензии не распространяются дальше стремления отыскать маленький личный вариант применения общей модели, основная концепция которой им недоступна.

Кем бы ни были европейцы — революционерами или консерваторами, они уже не чувствуют себя уверенно ни в какой иной роли, кроме роли учеников. Недавно нам сказали, что «воображение пришло к власти». Но что произошло с тех пор, как эта превосходная фраза была начертана анонимным автором на стене Сорбонны?[1] Ровным счетом ничего, есть только прошлое и ничего, кроме прошлого, превратившегося в навязчивую идею. Всех занимает только возврат к прошлому и его переосмысление — механическое осовременивание доктрин и событий, которые уже перечеркнуты, отвергнуты и каталогизированы историей. Так что же: воображение — это всего лишь повторение? А революция — всего лишь имитация прошлого? Чем внимательнее вслушиваешься, тем явственнее слышишь именно этот мотив. Речь идет о постоянном возвращении то к Бакунину, Марксу, то Мао, Кастро, Че Геваре, то к Ленину, Троцкому, к Богу или Будде,

[1] Со времени студенческих волнений в мае 1968 г. надписи на стенах зданий, особенно университетов, стали своего рода бесконтрольной печатью политических групп всех оттенков.

к домашинной цивилизации, либо о постоянном возобновлении чего-то: китайской «культурной революции», Парижской Коммуны, октября 1917 года, мая 1968 года или 18 июня 1940 года.[2]

Коммунист-интеллектуал Роже Гароди был исключен из французской коммунистической партии за то, что он утверждал, будто мир труда сегодня не имеет того же социального состава, как в прошлом столетии. Мы приветствуем как «прогрессивное» явление сам факт его выступления на съезде коммунистов до исключения из партии. Но ведь и в шестнадцатом веке еще до осуждения Святой Инквизицией можно было высказаться перед ней. Дух подражательства захватил не только французскую коммунистическую партию, он распространился на большинство течений современного гошизма, заменив собой дух революционности. Он охватил всех — и старых и молодых: никто больше не требует, чтобы революция отличалась чем-то от бледной имитации прошлых поражений. А так как история знает немало таких примеров, вряд ли следует удивляться многочисленности подобных «революционных» тенденций.

В отличие от европейского движения протеста, движение американских диссидентов связано с проблемами повседневной реальности, в которой оно развивается, и так как диссиденты уверены, что они могут решить эти проблемы, они не считают нужным от них отмахиваться. Они борются против военной службы во Вьетнаме, против расовой дискриминации, против загрязнения окружающей среды, против сотрудничества университетов с военно-промышленным комплексом, против равнодушия правительства Соединенных Штатов к проблемам индейцев, против недостаточности кредитов, предназначенных для улучшения

[2] Дата речи генерала де Голля, послужившая началом движения Сопротивления во Франции.

городского хозяйства. Для американской молодежи протест не означает воображаемого переноса на их общество неприемлемых политических учений, вроде маоизма или кастроизма; если эти схемы и привносятся, то только в незначительной мере и не для того, чтобы использовать их в качестве оправдания игнорирования реального положения. Некоторые из современных кумиров — Че Гевара или Фидель Кастро — значительно менее популярны в США (стране, заинтересованной в Латинской Америке), чем в Европе, хотя преклонение перед ними было бы более оправдано со стороны молодых американцев, чем со стороны молодых европейцев.

Я привел эти несколько примеров для того, чтобы подчеркнуть, что революционная значимость движения протеста становится тем больше, чем теснее оно связано с реальными проблемами общества, в котором оно существует. Диссиденты по-новому освещают проблемы, стоящие перед обществом, и оппозиция, которую их движение представляет, глубже и обширнее, чем так называемые «реалистические» требования. В этом отношении европейские диссиденты правы, утверждая, что их намерения значительно шире их текущих требований, особенно в вопросе зарплаты. Но если это так, то подобные намерения должны быть известны и понятны всем. Своим скорее ханжеским, чем революционным поведением по отношению к «обществу потребления» европейские «протестанты» оттолкнули от себя мир труда, включая и мелкую буржуазию, потому что и она живет своим трудом.[3] Конечно, в США

[3] У европейских интеллектуалов аристократическая неприязнь к мелкой буржуазии и особенно к мелким торговцам. Это неприязнь служащего к коммерсанту, а также «социалистическая» враждебность к мелкому собственнику, даже если речь идет не более как о наемном управляющем. После референдума 27 апреля 1969 г. во Франции, когда поражение голлизма произошло в значительной степени благодаря высокому проценту проголосовавших против него представи-

наиболее обеспеченная часть рабочих — «синие воротнички» — тоже с подозрением относится к молодежи, но это результат чисто американских причин, например — боязни усиления конкуренции со стороны цветных рабочих. Однако никому из американских диссидентов никогда и в голову не придет убеждать пуэрториканцев или даже белых рабочих в том, что их отчуждение — результат слишком высокого потребления.

Если Западная Европа способна лишь следовать за экономическим развитием, но не стимулировать его, если в этой области ей принадлежит хоть и почетная, но пассивная роль, то что же она представляет собой с точки зрения культуры? Здесь положение едва ли лучше. Соотношение затрат на образование и полученного национального дохода во всех европейских странах, за исключением Швеции и Англии, совершенно неудовлетворительное. Всего один француз из десяти имеет материальную возможность продолжить образование после средней школы, иначе говоря, в интел-

телей именно этой социальной категории, некоторые левые комментаторы на корню отвергли эту победу, положившую предел одиннадцатилетней монократии, потому что, как утверждали они, это был «триумф лавочников». Сама эта фраза показывает, насколько французский гошизм, особенно в своей интеллектуальной части, «избавлен» от демократизма. Когда профессор университета или парижский журналист избирает мишенью бакалейщика своего квартала на том основании, что этот бакалейщик — представитель класса капиталистов, то он не только смешон в плане моральном, но и совершает ошибку в политическом плане: в период экономических трудностей этот «мелкий буржуа» после такого враждебного наскока слева наверняка займет правую позицию. Совершенно очевидно, что если полностью исключить из распределения революционных сил средние слои общества в тех странах, где они составляют наиболее значительную социальную группу и зачастую являются движущей силой в эволюции культуры, то в таком случае налицо пренебрежение анализом реальной ситуации в угоду идеологии, в соответствии с которой только промышленные рабочие представляют революционный класс, даже если в своем большинстве эти самые рабочие и есть составной элемент средних слоев в современном обществе многих промышленно развитых стран.

лектуальном смысле Франция функционирует как страна с пятью миллионами жителей. Но как это ни странно, сами руководители системы образования враждебно относятся к критике ее скрытого убожества и недостатков. По их мнению, преподаватели должны работать в трудных материальных условиях и, преодолевая их, утверждать свою непреходящую роль, несмотря на все препятствия практического характера. У этой теории духовной рентабельности нищеты сегодня мало серьезных сторонников. Мне трудно было поверить, что среди них — государственные инспекторы начальных и средних школ, чья роль состоит в том, чтобы представлять министерство просвещения перед работниками школ, но не в том, чтобы передавать жалобы этих работников центральной администрации: для этого не предусмотрено никакой действенной процедуры.

На практике вычисление затрат на образование по отношению к общим средствам, которыми располагает данное общество (и в зависимости от тех целей, которые оно себе ставит), составляет предмет отдельной науки в рамках социологии и экономики. По этому вопросу уже имеется обильная литература, но она доступна лишь специалистам в области образования.

Невозможно точно подсчитать рентабельность затрат всего общества на образование. Единственно, что можно утверждать, — это наличие идеального предела: полное использование людских ресурсов общества, полное использование возможностей каждого гражданина. Это полное использование имеет свои экономические последствия — чем отдаленнее его осуществление, тем больше обществу грозит слаборазвитость, а чем оно ближе, тем значительнее рост производства. Но, кроме этого, имеются и качественные последствия: в результате улучшения образовательной ориентации происходит все более совершенная адаптация индивидуальных качеств людей к профес-

сиональной деятельности, увеличивается свобода выбора поля деятельности, увеличивается свободное время — иными словами, жизнь становится лучше и гармоничнее для все большего числа людей.

Не только работа становится более производительной, чего еще недостаточно, но и уменьшается личная неудовлетворенность работой. Без этого морального и личного аспекта культурного совершенствования технический эффект затрат на образование может привести к потере равновесия и к тем кризисам, которые наблюдаются в современном обществе. Во всяком случае, как отметил Эдгар Фор[4], «мальтузианство образования обходится очень дорого».

Какую часть своего дохода страна должна использовать на цели образования, если она стремится поддерживать свой культурный рост и избегать регресса? По «золотому правилу» Жюля Ферри, которого придерживается современная Франция, — одну шестую государственного бюджета. Однако эта доля уже не представляется достаточной. Недавние исследования экономических аспектов системы образования во Франции наглядно показали, что мало принимать во внимание только государственный бюджет. Сюда же нужно добавить расходы местных властей, расходы по образованию других министерств, частных школ и, конечно, прямые затраты из семейных бюджетов. Как это ни невероятно для страны, где образование предоставляется теоретически бесплатно, прямые расходы семей на образование (приобретение книг и других необходимых принадлежностей, частные уроки, содержание студентов и т. д.) возросли к 1967 году до 8,5 млрд

[4] Эдгар Фор — известный французский государственный деятель, ставший министром национального образования в мае 1968 г., автор нового проекта системы образования во Франции, по которой, в частности, значительно расширено университетское самоуправление. В настоящее время Э. Фор — председатель Национальной ассамблеи Франции.

франков, что составляет примерно столько же, сколько все расходы на национальное образование за вычетом затрат на оборудование.

Эта добровольная семейная помощь детям и юношам способствует усилению социального неравенства и определяет неодинаковость шансов на успех, так как она находится в прямой зависимости от дохода семьи. В 1964 году, например, семьи с высоким доходом расходовали 1.489 франков в год из расчета на одного обучающегося и на одну семью; семья среднего служащего — 931 франк, а семья среднего рабочего — 675 франков, при средней для всей страны цифре расходов в 1.180 франков в год.

Всю совокупность этих данных следует принимать во внимание при подсчете затрат на образование, и лучший результат можно получить, суммируя их и рассматривая всю сумму в процентном отношении к произведенному национальному продукту. Принимая во внимание различие в методах финансирования образования в отдельных странах, можно сказать, что это единственный способ, позволяющий делать эффективные сравнения. Так, в 1964 году Соединенные Штаты Америки уделили на расходы в области образования 5,8% своего произведенного национального продукта; Голландия — тоже 5,8%; Швеция — 5,7%; Италия — 5,3%; Великобритания — 4,9% и Франция — 4,35%.[5]

[5] Данные из книги Пьера Дюмара « Цена образования во Франции », Париж, 1969, (Кальманн-Леви). Эта на первый взгляд незначительная разница на практике имеет большое значение. Стоит, например, указать, что один процент произведенного национального продукта в США составлял в 1970 г. 9,86 млрд долларов, во Франции — около половины этого. Как следует из официальных данных, на помощь развивающимся странам промышленно развитые государства тратят менее 1% своего произведенного национального продукта. При сравнении вышеприведенных цифр следует также учитывать, что, например, Италия достигла показателя 5% лишь в 1964 г., а Великобритания на несколько лет раньше. Нынешние усилия Италии и Франции не представляют собой ничего другого, кроме попытки сократить свое

Таким образом, положение с образованием во Франции остается тяжелым по сравнению с потребностями страны, и на практике система национального образования не является сектором первостепенной важности, каким она должна быть. Существующие реформы носят более или менее случайный характер; они были вызваны жесточайшим кризисом системы образования, а не усилиями методичного планирования. В 1968 году, благодаря судорожным усилиям, Франция уделила на образование пять процентов своего произведенного национального продукта, тогда как США и Швеция по аналогичным расходам преодолели в том же году уровень 7%.

Было бы иллюзией уповать на то, что ныне мы ушли от трудностей, так как страна прошла послевоенный пик рождаемости. Кроме демографических соображений, мы сталкиваемся и с другим фактором: спрос на образование как выражение социальной и психологической потребностей. Этот спрос является результатом демократизации общества, и он требует для своего продолжения дальнейшей демократизации. Таким образом, расходы на образование будут неуклонно возрастать.

В 1969 году, в тот самый момент, когда Франция отвергала де Голля, она раскрывала свои объятия Наполеону, обращаясь скорее к 1800 году, чем к 2000, не в меру восхищалась прошлым, тратя половину своего времени на празднования давно минувших событий и мечтая о том, чтобы задать остальному миру хорошую встряску.[6] А тем временем на-

отставание от стран Северной Европы. При всех условиях развитие европейской культуры характеризуется той же разнородностью, что и политическая жизнь Европы, и поэтому маловероятно, чтобы Европа превзошла США в области фундаментальных научных исследований

[6] Автор имеет в виду помпезный двухсотлетний юбилей императора Наполеона. Этому юбилею были посвящены бесчисленные официальные церемонии, в которых принимали участие многие государственные деятели, включая президента Помпиду.

капливались безжалостные серенькие проблемы повседневности. Они вставали одна за другой, и почти все указывали на то, что в реестр истории наше «десятилетие величия» вошло под знаком посредственности.

Среди многочисленных честолюбивых устремлений голлизма амбиции по линии прогресса культуры провозглашались наиболее торжественно, и именно они оказались наиболее далекими от осуществления. И снова слова заменили идеи, фразы — действие, а поток речей — результаты. Самым примечательным оказалось пренебрежение реальностью в области книг. Всякая подготовка революции должна создать средства для популяризации культуры, иначе говоря, обеспечить более свободное выражение критического мышления. Система общественных бесплатных библиотек, существующая в Соединенных Штатах, — лучшая в мире. В Европе в этом отношении царит необычайная пестрота. Чтобы проиллюстрировать этот факт, обратимся к чрезвычайно интересному сборнику документов — «Статистический ежегодник ЮНЕСКО», последнее издание которого датировано 1965 годом.

Заглянем в суть проблемы. Из всех официальных средств, предназначенных для приобретения книг, наиболее эффективно государственное субсидирование общественных библиотек. Конечно, прямые субсидии могут использоваться, в основном, на приобретение научной и учебной литературы. Покупки книг библиотеками происходят на обычном книжном рынке и позволяют рядовому читателю быть в курсе литературных и других событий без необходимости покупать каждую выходящую книгу. Издатель, таким образом, не оказывается перед трудным выбором между бестселлером и дефицитом. В издательской практике качество и непрерывность издания книг обеспечиваются средним минимумом их продажи.

В ежегоднике ЮНЕСКО приводятся данные о том,

что в Федеративной Республике Германии 10.988 общественных библиотек предоставляют в распоряжение читателей около 22 миллионов томов; в Великобритании 40 тысяч центров распространяют около 77 миллионов томов.

Что касается Франции, то мы обнаруживаем в ее разделе три маленькие точки, означающие: «Данных не имеется». Этот знак в подобных статистических документах мы привыкли встречать, не придавая ему особого значения, в данных таких районов, как острова Рюкю или Португальская Гвинея. Может быть, в такой высокобюрократизированной стране, как Франция, так много библиотек и книг, что их просто трудно сосчитать? Едва ли. Скорее всего ЮНЕСКО из деликатности и по согласованию с французским правительством воздержалась от публикации слишком унизительных для нас сведений.

Эти сведения заменяет спасительная сноска, которая уверяет нас, что «во Франции существуют многочисленные и самые различные публичные библиотеки и, кроме того, многочисленные частные библиотеки» (последнее не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу), не считая «библиотек французского женского католического движения» и бесчисленных (!) библиотек церковных приходов, молодежных движений (?) и т. д. Подлинное объяснение можно обнаружить в ежегодных бюджетах Французской Республики: Франция тратит на закупку книг для общественного пользования меньше, чем Испания, хотя и больше, чем Турция.

Обратимся теперь к внешнему книжному рынку. Положение французской книги настолько ухудшилось, что это было специально отмечено Экономической комиссией, исходившей из данных ЮНЕСКО, в ее докладе о развитии коммерческих служб Франции, опубликованном в «Официальной газете» от 28 января 1969 года. В этом докладе (раздел «авторские права»)

мы читаем, что начиная с 1961 года французская экономика перестала получать прибыль от экспорта книг; иначе говоря, теперь Франция больше платит иностранным издателям (за права перевода или за импорт книг), чем она получает. Это не потому, что во Франции издается меньше книг, чем до 1961 года; просто другие страны издают и экспортируют сейчас книг больше, чем прежде.

Показатели французской книжной продукции остаются статичными. Фактически они мало изменились с 1860 года. В течение столетия ежегодная цифра публикуемых названий колеблется от 13 до 14 тысяч книг. Для сравнения (насколько оно возможно) укажем, что в 1964 году Франция издала 13.479 наименований книг, Англия — 26.123, Федеративная Республика Германии — 30.798, Испания — 15.540 (без учебников). А из наших 13 тысяч названий, если вычесть переводную литературу и переиздания, останется всего от 5.000 до 6.000 новинок.

Английская книга (но не «книга на английском языке»), от которой американский рынок эффективно огражден, значительно лучше защищает свои позиции на иностранном рынке, чем французская книга, в таких странах, как Италия, Греция, Испания и даже Швейцария, где французский язык имеет равные или даже лучшие возможности, чем английский. 29 июля 1969 года литературное приложение к газете «Таймс» поместило высказывание президента Совета по развитию книжного дела (подобной организации не существует в континентальной Европе) о том, что английская книга уступает в экспорте Великобритании только... виски, сельскохозяйственному оборудованию и высококачественным тканям. Это результат активности внутреннего рынка, где английские издатели обеспечивают самые разнообразные секторы и могут удовлетворять растущий спрос, включая и внешний спрос, на английские книги.

Эти данные приведены здесь для того, чтобы опро-

вергнуть иллюзию о культурном превосходстве европейцев над американцами. Существующее положение совершенно противоположно этой иллюзии. Культурное развитие, демократичность получения знаний сопровождались в Соединенных Штатах расширением фундаментальных и прикладных исследований, изобретательностью и чувством нового в искусстве. А что касается книг, то необходимо указать на следующее: вряд ли в Соединенных Штатах найдется город, в котором не было бы приличной библиотеки; даже самая маленькая библиотека, будучи связанной с библиотечной системой всего штата, может получить практически любую нужную читателю книгу в течение нескольких дней. Не следует также забывать, что Соединенные Штаты Америки — родина недорогой книги карманного формата.

В противоположность бытующим убеждениям, развитие общей культуры и авангардистского искусства скорее дополняют друг друга, чем взаимно исключают одно другое. В Соединенных Штатах сейчас происходит тот же процесс, который происходил в Европе девятнадцатого столетия: популяризация культуры, ее распространение на все более широкие слои общества сопровождаются ростом творческих сил авангарда в искусстве.

Так же как и уровень культуры, уровень политической информации, этой необходимой составной части любой современной революции, совершенно неодинаков в европейских странах в том, что касается степени допускаемой свободы основного инструмента политической культуры масс: телевидения.[7]

[7] Во Франции часто можно слышать, что политическое порабощение телевидения французским правительством не имеет особого значения или что, по крайней мере, один политический режим получает от телевидения не больше выгоды, чем другой. Например, Четвертая республика так же твердо контролировала телевидение, как и Пятая республика генерала де Голля. Это совершенно верно. Однако есть небольшая любопытная деталь: в канун возвращения де Голля к власти

В целом революция в Европе сдавлена петлей политического удушья и оглушена бюрократической какофонией континента. В некоммунистической Европе фактически существуют три диктатуры: Греция, Португалия и Испания. С другой стороны, имеются страны с социалистическими тенденциями в их демократических режимах: Северная Европа, Западная Германия, Голландия и Англия. В этой второй группе стран свободы гарантированы более или менее надежно, а информация не подвержена прямой цензуре. Между этими двумя группами стран Франция и Италия занимают промежуточные позиции: наличие в них сильных коммунистических партий гарантирует правым (консерваторам или смутно выраженным реформистам, — в зависимости от текущего момента, — всегда лишенным творческого воображения) практически вечную власть.[8]

Ни во Франции, ни в Италии нельзя ожидать революции, потому что наиболее сильные в этих странах оппозиционные партии хотят революцию *в теории,*

во Франции насчитывалось 600 тысяч телевизоров, а через десять лет — почти 12 миллионов. Увеличение полностью соответствует росту газетно-журнальной печати между 1830 и 1880 годом. В моральном отношении, если цензура печати в последние годы Реставрации была бы столь же преступна, как через пятьдесят лет, а в политическом смысле, если бы законы 1881 года, установившие свободу печати, не были бы приняты, то последствия оказались бы совершенно иными по сравнению с тем, что удалось достигнуть во времена Реставрации. Мы все еще не расплатились с последствиями цензуры телевидения в течение последнего десятилетия — периода, во время которого оно превратилось в основное орудие политической борьбы Инфантильность французского политического сознания — результат этой цензуры — будет, вероятно, длительным явлением, которое надолго затормозит всякую революционную пропаганду.

[8] Я подчеркиваю — именно творческое воображение Воображение может быть либо действенным, преображающим действительность, либо иллюзорным, тогда оно превращается в способ бегства от реальности. К этой второй категории относится так называемый «великий замысел» генерала де Голля.

тогда как *на практике* они ее не хотят. В результате гасится весь революционный порыв и в то же время предотвращается возможность создания эффективной оппозиционной партии, которая в конце концов способна взять власть в свои руки, так как искусственно создается впечатление, будто такая партия обязательно либо реформистская, либо центристская и т. д. Таким образом, в этих странах оппозиция носит чисто теоретический характер, поскольку большинство населения мало интересует оппозиция, не имеющая и отдаленных шансов на приход к власти.

5. ФРАНЦИЯ: ПРИМЕР НЕВОЗМОЖНОСТИ РЕВОЛЮЦИИ

Ярким примером невозможности революции может служить состояние левого движения во Франции к 1970 году. Как только в стране начинается движение общественных сил к переменам, оно немедленно затормаживается не только существующим порядком, но и силами слева. Находящиеся у власти правые делают те или иные уступки, но только тогда, когда достигается критическая точка, — в этом заключается двойное преимущество для власти правых: они уступают лишь в последнюю минуту, прикрываясь прогрессивным характером этих уступок. Таким образом, левым остается роль вечной оппозиции, а не партии, стоящей у власти в стране. И иное перераспределение власти абсолютно невозможно ни путем выборов, ни путем насилия.

Даже для француза левых убеждений не так просто определить, кто представляет левых во Франции. Французская коммунистическая партия? Нет, потому что в ней не существует внутрипартийной демократии, потому что до сих пор коммунисты не признают свободы ни в одной из стран, где они находятся у власти. В этом отношении миф об «итальянском коммунизме», которым гошисты Франции живут уже пятнадцать лет, в последнее время проследовал за своим предшественником — «югославским коммунизмом» в могилу либеральных иллюзий. Может быть, это — некоммунисти-

ческие левые? Опять нет, так как сюда входят и социал-демократы, придерживающиеся социалистической доктрины, и либералы, отвергающие социализм. Кроме того, если спросить социал-демократов, уничтожат ли они капитализм, придя к власти, вопрос этот вызовет у них явное замешательство. Если под «уничтожением капитализма» понимается «широкая национализация», то тут они рискуют вызвать обвинение в реформизме со стороны своих левых попутчиков, а со стороны правых — обвинение в попытке ликвидировать частную собственность и заменить ее собственностью коллективной.

Что касается тех левых, которые не являются ни коммунистами, ни социалистами, то с ними дело обстоит еще сложнее. Когда политические ветры дуют в сторону народного левого фронта, то есть в сторону союза с другими левыми партиями или, по крайней мере, такого целомудренного союза, главная задача которого состоит в том, чтобы воздерживаться от противопоставления своих кандидатов во втором туре выборов[1], они, как только страсти остывают, неуклонно соскальзывают в сторону правых центристов.

Крайне левые[2] также не представляют собой единого движения. В настоящее время здесь существуют два направления: старое и новое. Старое направление состоит из множества небольших экстремистских групп, таких, как отколовшиеся от ФКП коммунисты, троцкисты, анархисты, независимые социалисты (ПСА), Союз демократических сил (ЮФД), Объединенная социалистическая партия (ПСЮ) и т.д. Новое течение — движение всякого рода групп протеста. Первое направление никогда не имело существенного полити-

[1] Для избрания кандидата в первом туре мажоритарная система во Франции предусматривает необходимость абсолютного большинства голосов, во втором — простого большинства.

[2] Крайне левые во Франции — это и есть гошисты в собственном смысле.

ческого веса. Второе стало своего рода спасением для гошистского меньшинства, приобретя большую психологическую силу в качестве разрушителя моральной пассивности. Тем не менее сейчас невозможно говорить о гошизме как о факторе политической власти, разве только с точки зрения его роли в усилении власти правых.

Из приведенного выше анализа следует сделать вывод: левые силы не способны осуществлять власть, так как они не могут договориться относительно общей платформы, необходимой правительственному большинству. Это утверждение следует рассмотреть подробно.

Верно ли, что из-за отсутствия минимальной общей программы левые силы не могут прийти к власти? Нет, это неверно. Истина, вероятно, еще беспощаднее для них. На практике, в противоположность тому, что обычно утверждается по этому поводу, различные левые группы между 1965 и 1969 годом несколько раз приходили к соглашению в вопросе о довольно широкой правительственной программе.[3] Кандидат ПСУ на президентских выборах 1969 года выступил, например, с программой, которая в целом представляла собой слегка подправленную с левых позиций платформу Мендес-Франса. Программные отличия левых партий и групп нисколько не больше и не меньше, чем программные различия голлистского конгломерата. Разница, однако, в том, что голлистов объединяет пребывание у власти, тогда как левых, на первый взгляд, разделяет не столько неспособность *определить* общую политику, сколько реакция на возможность самого *прихода* к власти. Без всякой видимой причины союз левых сил разваливается, едва только открывается самая отдаленная перспектива победы. Именно этот нигилизм,

[3] На выборах в марте 1973 года во Франции крупные левые партии также выступили с совместной программой.

по всей видимости, и определяет сложную хореографию разного рода сближений и разрывов внутри левых сил Франции.

В марте 1967 года, например, в период выборов Объединенная социалистическая партия заняла крайне враждебную позицию по отношению к левым силам, состоявшим из объединенных в избирательный блок Коммунистической партии и Левой федерации (эта последняя в свою очередь включала в себя Социалистическую партию, партии радикалов и Конвента республиканских организаций). Представляя незначительную часть общественного мнения (от 2 до 3% избирателей), ПСЮ упрямо выставила отдельных кандидатов, сократив таким образом численность полученных объединенными левыми силами мест по крайней мере на десяток. А десятка было бы вполне достаточно, чтобы свергнуть правительственное большинство. Именно из-за такого раскола левых голлисты сохранили свое шаткое большинство.

Удивительным было некоторое сближение осенью 1969 года между генеральным секретарем ПСЮ Мишелем Рокаром, генеральным секретарем новой социалистической партии Аленом Савари и Франсуа Миттераном, в результате чего представилась возможность проводить политику союза левых демократов и социалистов, а затем — социалистов и коммунистов. Почему произошло такое отклонение от идеологической непримиримости именно тогда, когда после президентских выборов во Франции все перспективы немедленного взятия власти левыми силами рухнули? Ответ прост: союз этот существует лишь тогда, когда он не может дать практических результатов; как только появляется перспектива практических результатов, такой союз рушится.

Подтверждение этого принципа можно видеть на примере частичных выборов в конце октября 1969 года в департаменте Ивелин, во время которых Мишель Рокар, кандидат ПСЮ, нанес поражение бывшему премьер-министру правительства генерала де Голля

Кув де Мюрвилю. Произошло это благодаря избирательной коалиции коммунистов, социалистов, радикалов и центристов (не без помощи самого Кув де Мюрвиля, который не смог предложить избирателям ничего, кроме скептических банальностей). Это была чистая победа левых, которую они провозгласили доказательством своей способности, при определенных условиях, «создать антиголлистский фронт». Но при каких именно «определенных условиях» возможно создание такого фронта? Мне думается, эта победа вместо радости должна была бы вызвать у левых досаду, потому что вполне вероятно, что она стала возможной именно в силу своей полной бесполезности. Значение имеет только такая победа, которая *приносит власть*. Но никогда, будь то на президентских или легислативных выборах, такой союз левых сил еще не возникал. Антиголлистская оппозиция, которая еще на весенних выборах была неспособна не только поддержать, но даже выдвинуть единого кандидата в президенты, оказалась в отличной форме, как только речь зашла об акции, не имеющей никакого практического значения.

Пример боязни обладания властью, столь характерной для левых во Франции, дает полемика вокруг вопроса о том, поддержать ли им на президентских выборах 1969 года кандидатуру Алена Поэра. Большинство интеллектуалов, с которыми я говорил на эту тему, проявляли крайнюю неприязнь к самой идее поддержки кандидата, не являвшегося признанным социалистом. (Я не буду рассматривать мотивов коммунистической партии в ее ожесточенной кампании против Алена Поэра, мотивов, хотя и менее приемлемых, чем выдвинутые левыми-некоммунистами, тем не менее более рациональных.) Левые некоммунисты были той единственной политической силой, которая, объединившись вокруг Поэра, могла обеспечить его успех и в то же время отстранить от власти сторонников генерала де Голля. Вопрос заключался в том, следует ли считать

эту последнюю задачу первоочередной. Конечно, вопрос был спорным, но практически случилось так, что он ни разу не дискутировался в ходе предвыборной кампании. Вместо этого Франция выслушивала, в основном, аргументы следующего типа: «Мы будем голосовать за Поэра, так как главное — это победить Помпиду; но мы не хотим этого делать, или даже не сделаем этого, потому что Поэр — не социалист и не находится в союзе с коммунистами». Другими словами, Поэра обвиняли в том, что он не поступил так, как Франсуа Миттеран поступил в марте 1967 года на легислативных выборах или в декабре 1965 года на президентских выборах. И тем не менее, во время этих двух кампаний Миттерана те же самые люди, представлявшие те же самые левые группировки, заявили, что их не удовлетворяют именно те программы, принципы и союзы, которые они теперь объявили необходимыми и вокруг которых они клялись объединиться (после того, как стало очевидным, что такие принципы, программы и союзы не будут осуществлены и что они вообще неосуществимы).

Вызывает постоянное недоумение неспособность большинства лидеров левых отличать решения, имеющие шансы быть реализованными, от решений, совершенно не имеющих таких шансов. Во время президентских выборов 1969 года очень скоро выяснилось, что при отсутствии единого кандидата левых сил соперничество разворачивалось практически только между двумя кандидатами: Поэром и Помпиду. Другие кандидаты могли говорить сколько угодно о своих намерениях и целях, но не могли предложить реальных альтернатив и быть избранными. Избиратели вполне могли быть недовольными политической ситуацией, в результате которой их выбор был ограничен лишь Поэром и Помпиду; но никому и в голову не могло прийти, что есть другой более или менее реальный выбор. Более того, этот выбор, вероятно, отражал реальность французской политической жизни; ибо было бы

наивным вообразить, что интриги каких-то политиков могут вызвать перемены в движении левых в тот момент, когда постголлизм разваливался и вызывал неудовольствие. Не мог стать альтернативой и абсентеизм, потому что хорошо известно: абсентеизм не бывает нейтральным, он всегда выгоден тому или иному кандидату; в данном случае таким кандидатом был Помпиду. Таким образом, независимо от побуждений и сожалений, как только стало ясно, что левые не могут объединиться и выдвинуть единого кандидата, кампания превратилась в поединок между Поэром и Помпиду.

Реальное содержание политики заключается в правильной реакции на реальное положение, а не в знаке равенства между вполне возможными решениями и воздушными замками. Если вам предлагают выбрать между паштетом и картошкой, объяснив, что больше в меню ничего нет, то бессмысленно говорить, что вы предпочитаете икру. Можно желать, чтобы выбор был богаче, но это мечтание не равнозначно действию, соответствующему реальности. Действовать — значит принимать решение в соответствии с реальностью, а не в соответствии с несуществующими возможностями. Безусловно, зачастую действительность далеко не удовлетворительна, но в каждый данный момент мы должны уметь сознавать именно эту реальность. Впоследствии, может быть, возникнет новая альтернатива, иначе говоря, превращение этой альтернативы в конкретную возможность выбора. Но перспектива возможного в будущем образа действия не освобождает от ответственности за реальный выбор в настоящем. Если перед нами две гипотезы, каждая из которых может быть реализована, и если мы отказываемся от сравнения их с гипотезами, которые не могут быть осуществлены в ближайшем будущем, мы автоматически ограничиваем себя рассмотрением соответствующих преимуществ и недостатков конкретного решения, связанного с реальной действительностью. Потому что с политической точки зрения принять решение в пользу того,

что никогда не произойдет, значит вообще не принять никакого решения. Иначе говоря, реалистический выбор в политике неизбежно связан с неудобствами. Поэтому, если по такой причине отказываться от решений, то в конце концов возможного выхода из положения не останется вообще.

При анализе различных мотивов, определяющих предпочтения французских левых сил, обнаруживается, что многие решения принимаются не на основе того, что можно достигнуть, а на основе модных убеждений. Иначе говоря, левые принимают решения, исходя не из вопроса о власти, а следуя прагматической элегантности. В результате неотъемлемой характеристикой становится не достижимость цели, а ее громкозвучность и та честь, которую она принесет тем, кто ее провозгласил. Человек, который предложил бы уничтожение рабства в 200 году до новой эры, безусловно заслуживал бы всяческих похвал; но несомненно можно утверждать, что ни один политический деятель этого бы не сделал. Для того, чтобы рабство на самом деле в конце концов было отменено, нужны были люди, которые осуждали его в то время, когда на его уничтожение не было никаких шансов. Но если бы эти же самые люди во время выборов или в какой-то другой момент политического кризиса отказались сделать выбор между тираном и демократическим кандидатом на том основании, что оба они не против рабства, то в результате они лишь отсрочили бы последующее освобождение рабов. Для того, чтобы политика была искусством возможного, она прежде всего должна стать искусством реального.

Наконец, следует отметить, что быть во Франции левым — это значит утверждать, будто ты более левый, чем другие, доказывать, что остальные чуть ли не правые. Правых, в общем-то, спасает парализующая боязнь левых прослыть реакционерами. В моменты кризисов, когда возникает возможность перехода власти из одних рук в другие, левые неожиданно становятся

словно одержимыми необходимостью провозглашать, что все их союзники ничем не отличаются от партии, находящейся у власти. Так, в 1968 году было заявлено, что между Миттераном и де Голлем нет никакой разницы; в 1969 году — что нет разницы между Поэром и Помпиду. На самом деле левые тем самым говорили, что политические действия бессмысленны, так как в каждом из этих случаев два кандидата представляют от семидесяти до восьмидесяти процентов избирателей и, следовательно, у левых нет возможности получить власть в стране. В свете этого трудно объяснить те крики радости, которыми революционеры сопровождали это прискорбное соперничество.

Точно так же поражает та предвзятость, с которой французские социалисты (Франция, безусловно, такая страна, где обнаруживается меньше всего социализма при очень большом числе неуступчивых социалистов) относятся к английским лейбористам, немецким социал-демократам, к «шведскому» социализму — этой черной овце наших революционеров; иными словами, ко всем тем, кто забыл, что во фразе «совершить революцию» имеется глагол «совершить». По какому праву самый отсталый отряд левых сил Европы позволяет себе говорить подобным тоном?

То же самое относится и к намеренному отрицанию левыми всех форм эволюционного капитализма, промышленной революции и технического прогресса во имя обветшалых представлений о социализме, что равносильно точке зрения: лучше недоразвитость, но только не пересмотр догм. Разными путями мы приходим к тому же выводу: нас заботит все, только не то, что нам доступно. Любая политическая неконсервативная сила оборачивается против себя самой или теряет эффективность, как только наступает момент политического действия. Коммунисты и ВКТ, например, занимают очень жесткую позицию, когда находящаяся у власти партия сильна и когда нет непосредственной опасности перемен, которые могут произойти

либо путем выборов, либо как-то иначе; но лишь только перемена становится реальной, они дают обратный ход. Такое положение нельзя объяснить только фактическим молчаливым согласием коммунистов и голлистов не допустить единства Западной Европы. Оно выдает и психологические мотивы: голлисты могут практически безнаказанно клеймить коммунистический заговор, в то время как коммунисты помогают голлистам избавиться от собственных левацких и непримиримо центристских элементов. Взамен этого коммунисты получают монополию на оппозицию в период политического затишья, в результате чего партия укрепляет себя как организация, основная задача которой остаться в оппозиции. И для голлистов и для коммунистов важно иметь возможность бороться друг с другом, но не уничтожать друг друга; каждая партия представляет собой ту самую курицу, которая для другой несет золотые яички.

Отсюда легко понять триумф консерватизма во французской политике. С одной стороны, консервативна сама коммунистическая партия — она не изменилась, несмотря на события в Будапеште и Праге, несмотря на поражение в мае 1958 года в самой Франции[4] и снова в мае 1968 года во время студенческого восстания. С другой стороны, левые некоммунисты, как только появляется возможность перемены, оказываются поглощенными внутренней борьбой вокруг малозначительных деталей или умножают свои требования, чтобы иметь возможность отвергнуть любое сделанное им предложение.

Для французских левых политика — это все что угодно, кроме действия. Святая святых социализма достигла такой чистоты, что в современной политической обстановке для нее просто нет места. Практически получается, что никто не желает двигаться с места из

[4] В мае 1958 года во Франции к власти вернулся генерал де Голль.

боязни двинуться в неверном направлении. Слова стали более важны, чем действия; а сама идея, что в политике действия — элемент более важный, чем слова, многим и в голову не приходит.

Правые ненамного лучше; они тоже привыкли полностью игнорировать происходящие в стране события. Типичное явление: районы, вроде Бретани, живущие в состоянии полубунта против власти, непременно голосуют за нее, как только приходят выборы. В апреле-мае 1969 года вся страна начала неожиданно и открыто заявлять, что политика голлизма полностью провалилась. Это произошло без всякого перехода и без всякого сопротивления, словно была осознана национальная истина. Люди, которые годами неспособны были без озлобления выслушать хоть слово критики в адрес правительства, вдруг, по принципу «все наоборот», заговорили как о полной очевидности о том, что де Голль оставил Францию в печальном состоянии. Они были убеждены в этом. Но, действуя с удивительной непоследовательностью, эти же люди отдали власть в высших инстанциях вчерашним сподвижникам генерала, о которых можно думать, что если они сотрудничали с ним из убеждений, то тогда они интеллектуально дискредитированы, или же если они сотрудничали с ним против своих убеждений, то они скомпрометированы морально. Почти все признают, что план стабилизации 1963 года повредил экономике Франции, но в 1969 году министерство экономики снова отдали его автору, который вместе со своими коллегами и руководителями, через несколько месяцев траура, вновь предался петушиному самовосхвалению, забыв уточнить, что подлинным спасителем французского франка в конце 1969 года был господин Вилли Брандт, наш лучший министр финансов за долгие годы[5].

[5] Вилли Брандт согласился на ревальвацию марки ФРГ. Отметим также, что различные победы голлистской валютной политики фактически обернулись катастрофой. с 1958 по 1969 г. франк потерял 40% своей стоимости по отношению к марке ФРГ.

Следует, однако, отметить, что незначительное улучшение нашего платежного баланса и замедление обесценивания денег ни в коей мере не являются панацеей, способной ликвидировать отсталость Франции в целом ряде областей. Люди знают об этой отсталости и считают ее непростительной; иначе говоря, они полагают, что ее можно было избежать. Французы упустили возможности, которые предоставляли шестидесятые годы, они не смогли использовать преимущества как своего капитализма, так и своего социализма. Голлисты не смогли оправдать доверия своих сторонников, а эти сторонники, точно так же как и оппозиция, оказались не в состоянии извлечь из этого провала политический урок. Как будто выборы не имеют ничего общего с образом мыслей, опытом, с тем, что человек видит и говорит каждый день. И кажется, всегда бывает так, что отдельные независимые газеты (более или менее критически относящиеся к голлизму, как например, «Монд») специально ждут окончания выборов, чтобы извлечь из своих досье наиболее разоблачающие доказательства. Так было с их досье о положении с телефонами, которое стало достоянием широкой публики только после выборов в июне 1968 года, с информацией о положении министерства культуры, которая была опубликована лишь после президентских выборов 1969 года. Объяснялось это тем, что печати следовало воздерживаться от «давления на избирателей». Странное дело, что же такое публикация новостей (не говоря уже о редакционных статьях), если не давление на избирателей. Вероятно, избирателей можно направлять только тогда, когда они не могут превратить это «направление» в действие; иными словами — и тут мы возвращаемся к тому, с чего начали, — когда это «направление» не имеет смысла.

Точно так же любая критика экономического положения объясняется даже левыми как проявление «потребительства» и технологического отчуждения. Тем не менее в период 1960-1965 годов было широко

распространено мнение (даже среди левых), что одним из «диалектических» достоинств голлизма является его способность обновить промышленную и административную «структуры» страны.

Без малейшего доказательства голлизму была приписана способность создать новое общество — словно авторитарный режим только и предназначен служить будущему. Даже в принципе не очень серьезно утверждение, будто нейтрализация парламентарной системы и усиление правительственного контроля необходимы в современном мире в качестве цены, которую «уплачивает» общество за сложность экономики и техники, находящихся в непрерывном изменении. Такое предположение игнорирует тот факт, что авторитаризм может также быть инструментом устарелых концепций, что политическая философия генерала де Голля была во многих отношениях архаичной и привела к тому, что вклад в будущее был принесен в жертву восстановлению призрачной роли Франции в большой военно-дипломатической игре. Еще хуже было то, что игра, которую вел генерал де Голль, давно уже устарела, поскольку мир изобрел новую игру; а в этой новой игре источником силы и могущества могли бы стать те жертвы ради будущего, которыми генерал де Голль пренебрег. Наша ошибка состояла в том, что мы не разглядели за ширмой прогрессивной терминологии цель режима де Голля: восстановление системы самых традиционных ценностей правых, которые голлизм вынашивал. Эту ошибку совершили не только французы, но и многие очень хорошие иностранные специалисты по Франции, как например Стэнли Гофман[6], которые были a priori убеждены в способности голлизма обновить страну и которые не видели несоответствий между официальными заявлениями и повседневной жизнью во Франции

[6] См. «Нью-Йорк таймс», раздел Книжное обозрение, 10 апреля 1966 г.

— несоответствий, характерных для каждой страны, где царит консерватизм и оглупляющая людей пропаганда.

Эта отсталость тем более постыдна, что срок полномочий, предоставляемый правительству с самого начала существования Пятой республики, чрезвычайно удлинился; например, он в два раза больше, чем аналогичный срок в Соединенных Штатах. Легко упустить из виду, что стабильность, предоставленная таким образом исполнительной власти (стабильность, которая предохраняет как от критики, так и от нажима), имеет и оборотную сторону: она позволяет совершать ошибки в течение долгого времени. А неспособность французов признать видимые ими ошибки стала для Франции национальной катастрофой. Французские граждане постепенно убедились в том, что ядерная политика страны, проводимая более десяти лет, не дала никаких результатов и только разорила страну; что борьба против доллара уничтожила франк; что французские атомные подводные лодки устарели уже в день их спуска на воду и т.д. Но все это понимается только тогда, когда становится ясно, что изменить что-либо уже поздно. И самое плохое, что именно эти причины избираются в качестве основы для требования предоставить новому правительству свободу действий, правительству, состоящему почти из тех же самых людей, что и предыдущее. Всякая критика, каждый призыв подвести итоги объявляются «осуждением намерений». Каждый раз повторяется: «Через шесть месяцев увидите!» Все те, кто в 1962 году предсказывал, будто де Голль превратит Францию в первую промышленную державу Европы, обновит систему образования, реформирует налоговую систему, администрацию и т.д., задним числом признали, что их предсказания не сбылись. Теперь они ожидают того же от преемников де Голля и готовы дать им такую же власть, какую они предоставили генералу. Планы сторонников г.г. Помпиду и Шабан-Дельмаса имеют, в основном, те же главные

черты, что и планы бывших сторонников де Голля: в них нет различия между планами на будущее и конкретными действиями президента и правительства. Для целей политической аргументации разницы, вероятно, нет. Разница возникает только в случае провала; тогда неудача полностью игнорируется, страница переворачивается, чтобы можно было «писать» совершенно то же самое на новом листе.

Таким образом, и для правых и для левых политическое действие совершенно не связано, по всей видимости, с ежедневным практическим опытом. Избиратели, голосующие как за правых, так и за левых, признают (и действительность каждый день это подтверждает), что голлисты — плохие руководители, что за десять лет они не смогли сделать Францию тем, чем ее возможно было сделать. Для избирателя вопрос заключается не в том, чтобы изменить основную ориентацию общества или изменить капиталистическую систему; дело в невозможности подняться над той посредственностью, в которую впала страна в целом. Франция даже не располагает техническими преимуществами социального неравенства. Дело дошло до того, что в декабре 1969 года президент Помпиду радовался тому, что Франция чудом избежала банкротства.

Теоретические программы левых сегодня столь же далеки от реальности, как и программы правых; чтобы выяснить, насколько они действенны, их следует рассмотреть, учитывая следующие гипотезы:

Первая гипотеза: установление режима «народной демократии» вслед за вторжением Советского Союза во Францию. При современном международном положении такая возможность неправдоподобна; кроме того, она отражает желание лишь крайнего меньшинства французов и даже меньшинства французских коммунистов.

Вторая гипотеза: установление режима «народной демократии» в результате внутренней революции. Это

невозможно при нынешнем состоянии общественного мнения и соотношении политических сил во Франции.

Третья гипотеза: установление режима «гуманного социализма», то есть режима, который соблюдал бы основные гражданские права. Прежде всего следует отметить, что мы говорим о такого рода социалистическом режиме, который еще не существовал ни в одной стране — оговорка, имеющая существенное значение, когда речь идет о реалистичном политическом решении. Больше того, можно сомневаться в том, что сами коммунисты уверены в таком решении, если учесть тот факт, что они неспособны осуществлять демократию даже в собственной партии. Очень мало оснований считать, что они бы действовали лучше в масштабе всей страны. Но даже если предположить, что коммунисты захотели бы сохранить и гарантировать эти свободы без всяких оговорок, все равно остается фактом, что сторонники уничтожения частной собственности на средства производства составляют (включая коммунистов) не более пятнадцати-двадцати процентов французских избирателей, и это довольно либеральная оценка. Левым трудно признать, что из сорока пяти процентов всех голосующих за них избирателей лишь менее половины действительно хотят обобществления средств производства. Что касается других сторонников революционного социализма, не коммунистов, то их насчитывается незначительное меньшинство; более того, многие из них — антикоммунисты, что делает невозможным реализацию этой программы в ближайшем будущем.

Так как ни одна из трех приведенных выше гипотез, представляющих фундаментальные взгляды левых, не является реальной, а любая другая гипотеза несет на себе отпечаток реформизма, то что же на практике остается французским левым? Ничего. Ничего в том случае, если они не произведут радикальных изменений. Иными словами, положение харак-

терно для «невозможной революции». Ее главная характеристика: все действенное не считается революционным, а все революционное не считается действенным. Единственным выходом из этого порочного круга была бы выработка концепций, отражающих реальное положение во Франции и вообще в Европе, отказ от тех концепций, которые были выработаны для совершенно других условий. Нельзя одновременно быть и революционером и легитимистом.

Единственной новой нотой, прозвучавшей в рядах французской оппозиции за долгое время, явился «Манифест радикалов» Жан-Жака Серван-Шрейбера.[7] Он буквально оглушил как левых, так и правых смелостью своего тезиса, а затем был вознагражден бурей откликов: одни требовали возрождения центризма, другие — откровенного стремления к обществу потребления, некоторые были за социалистическую отмену частной собственности, кое-кто предлагал посткеннедиевский кеннедизм, но находились и такие, которые предлагали «загримировать» реформистское чудовище так, чтобы оно выглядело менее отталкивающим. Иными словами, началось копание в сундуках истории и вытаскивание на свет Божий решений прошлого. И среди всех этих словесных упражнений относительно прав на наследство, детских садов и бюджета, последовавших за публикацией «Манифеста», от внимания многих ускользнуло то, что эта книга — единственная политическая работа текущего периода, эмоционально и аналитически полностью обращенная к будущему, а не к прошлому, что это не своего рода словесная головоломка, как большинство левых программ, которые приходится собирать из готовых составных частей, а подлинное усилие заглянуть в будущее.

Центральная идея «Манифеста» заключается в том, что ни одно из существующих сегодня обществ не

[7] Опубликован в Париже в 1970 г. Ж.-Ж. Серван-Шрейбер — лидер партии реформаторов, депутат Национального собрания.

может служить моделью для будущей революции в буквальном смысле; наоборот, каждая революция — что и предполагает это понятие — есть открытие, изобретение. Безусловно, факт открытия не требует игнорирования всех соображений прошлого. Но сегодня левые упрямо держатся своего рода псевдолевой жесткости, которая обладает настолько большой гипнотической силой прошлого, что никакой пользы от этого получить невозможно. Это настоящий политический невроз, в результате которого люди оказываются в плену стереотипов, созданных в их детстве, и они неспособны извлечь урока из опыта жизни. Создать революцию означает создать новые системы поведения или, по крайней мере, новые объяснения для них. И в этом причина многих недоразумений, связанных с «Манифестом» и с «Американским вызовом».[8] Можно слышать утверждения, вроде: «Серван-Шрейбер говорит, что у общества только одна цель — прибыль». Это, конечно, неверно; Серван-Шрейбер говорит, что целью общества должен быть рост, а не прибыль. «Прибыль» — это доход от частного предприятия, тогда как «рост» — показатель всей экономики. Почти аксиоматично, что центральным фактором истории человечества стало следующее обстоятельство: в последние два столетия хозяйства отдельных стран из статичных превратились в динамичные, растущие. Поэтому всякая экономическая система, которая неспособна обеспечить рост, исторически обречена. И, как бы ни было трудно с этим согласиться, таково положение социалистических стран.

Означает ли это, что одного роста достаточно в качестве панацеи от всех проблем? Нет, это столь же абсурдно, как если заявить: «Мой сын растет на «X» сантиметров в год, и мне больше не о чем заботить-

[8] Книга Ж.-Ж. Серван-Шрейбера, содержащая сравнительный анализ роли и перспектив США и Европы в современном мире.

ся ». Рост — условие необходимое, но недостаточное. Он совершенно необходим для того, чтобы чего-либо достичь; но то, чего мы можем достичь на базе роста, может быть к лучшему или к худшему. И это указывает нам на еще одно довольно курьезное недоразумение (хотя следует иметь в виду, что обычно люди не читают тех книг, о которых они говорят) относительно мышления Серван-Шрейбера. Утверждают, что « Серван-Шрейбер — сторонник управленчества. Для него главное — управлять, управлять эффективно, чтобы возникала прибыль; все остальное придет само собой ». Это Серван-Шрейберу, вероятно, особенно неприятно слышать, поскольку его намерение было как раз противоположным. Для него кризисы и волнения, которым подвержены современные промышленные общества, — это результат их полного и анархического подчинения экономическим законам. В « Манифесте » приведено несколько примеров, показывающих, что именно в тех случаях, когда бизнес управляется наиболее эффективно (с его точки зрения), он приносит наибольший вред обществу и даже всему человечеству. Тезис совершенно марксистский: подчинение политики экономике — большой грех прошлого столетия.

Поэтому при теперешнем положении дел революция должна принести разделение политической и экономической власти — разделение, которое, если серьезно подумать, практически нигде не существует. В капиталистических странах, например, политика подчиняется интересам класса руководителей экономики. В социалистических странах политически господствующий класс может безнаказанно развалить экономику и ввергнуть народ в нищету. Вообще говоря, — и это к сожалению, — качества, необходимые для того, чтобы получить и сохранять власть, совершенно не аналогичны качествам, необходимым для компетентного и беспристрастного ее использования. Несоответствие между политикой и экономикой — архаичное состояние политической власти при постоянно про-

грессирующей технической мощи — является, как я считал не один год, подлинным преддверием революции.

В отличие от привычной наукообразной политической литературы, «Манифест» предлагает четкую программу действий, приводит конкретные примеры. Вопрос лишь в том, достаточно ли сил у «Манифеста», чтобы разбить оковы, в которых находится французская политическая жизнь. Но где то большинство, которое способно передать власть сторонникам Серван-Шрейбера? «Манифест» атакуют со всех сторон: правые за чрезмерную революционность некоторых предлагаемых в нем мер (ограниченное право наследования, отделение управления экономикой от владения капиталом), левые — потому что книга «реформистская», утверждает принцип частной собственности и не уважает «нерушимых святынь» социализма. Принимая все это во внимание, следует спросить: могла ли победа Серван-Шрейбера на выборах в Нанси в июне 1970 года быть повторена в масштабе всей страны? Вероятно, это было бы возможно на президентских выборах. Что же касается легислативных выборов, то это было бы много труднее, по крайней мере до тех пор, пока существуют двадцать процентов избирателей, голосующих за коммунистов и не имеющих возможности при нынешнем положении политических партий внести позитивный вклад ни в формирование законно избранного правительства, ни в революционное восстание.

В Италии существует ряд обстоятельств, сходных с положением во Франции. Так же как во Франции, там вполне достаточно революционеров, чтобы остановить реформизм, но их совершенно недостаточно, чтобы осуществить революцию.

Таким образом, европейцы, и особенно две основные группы средиземноморских стран могут избавиться от своих внутренних неурядиц только путем политического единства. Но за последние десять лет мы были свидетелями обратного процесса — возрождения госу-

дарства-нации. И здесь опять произошло соединение правых и левых: с одной стороны — национализм, с другой — страх перед капиталистической Европой, иначе говоря, перед «Европой монополий». На практике, однако, система европейского капитализма, несомненно, оказала бы меньшее сопротивление борьбе рабочих за новую экономику, чем отдельные элементы этой системы, раздробленные на национальные уделы. Возможным результатом укоренения этих наций-государств может быть более ускоренное движение Северной Европы и Западной Германии в сторону «революционного реформизма», тогда как другие страны Европы будут все глубже увязать в статичном антагонизме, унаследованном от двух противостоящих друг другу блоков, представляющих внутреннее общественное мнение. Несмотря на их необычайную гибкость и динамичность, северные страны не смогут избежать зависимости от созидательной силы Америки, да у них и самих нет достаточных сил, чтобы во всемирном масштабе дать толчок тем решениям, которые они могут найти самостоятельно.

Автор «Манифеста радикалов» признает, что в политически раздробленной Европе начать революцию невозможно; более того, он утверждает, что только «всемирное» правительство будет в состоянии в какой-то момент начать революционное действие. Если это так, можно ли надеятся на то, что Европа, при всей своей отсталости, раздробленности и неповоротливости, сможет сыграть революционную роль, став (или вновь став) колыбелью новой культуры? Я имею в виду не столько область науки и техники, где Европа уже истощила себя, сколько области новых идеологий, новых ощущений, морали, новых искусств, соответствующих новым средствам распространения информации. К сожалению, при существующих отношениях в этой сфере Европа так же разделена на почти непримиримые группы. Есть южная группа с ее двумя клерикальными диктатурами; есть англо-германо-

нордическая группа, направляемая индивидуализмом либерального характера, ориентируемая реформизмом социалистического толка.[9] В этих двух географических группах мы обнаруживаем два типа интеллектуалов. Один из них занимается внедрением американской идеологии двадцатилетней давности: производительность, выпуск продукции, организация, оценка технического прогресса и прогресса морали — идеологии, которая к настоящему времени уже пересмотрена даже в самих Соединенных Штатах. Второй тип полностью отвергает эту идеологию, а также рост экономики, технику и даже саму науку. У этих интеллектуалов большой престиж и влияние; они буквально одержимы прошлым и враждебностью к науке. Большую часть своих усилий они посвящают изобретению обновленных и зачастую разумных контраргументов в соответствии с доктринальными образцами, первоначально служившими аргументами в пользу норм донаучной культуры, и делают это с неистощимой оригинальностью. Более того, эти люди преисполнены анахроническим чувством собственного культурного превосходства. Для них, как для средневекового церковника, культура служит средством отделения от остального человечества и позволяет им чувствовать себя выше толпы; отсюда их неприятие любых форм выражения, обращенных к массам (за исключением тех случаев, когда эти формы имеют рекламную ценность для них самих), и воссоздание все более запутанных определений культуры. Этот тип культуры — хоть сам по себе и насыщенный тенденциями революционного происхождения, такими, как марксизм, психоанализ, сюрреализм — привел к соединению левых убеждений с убеждениями антинаучными и антитехническими. Все это ведет к лозунгу «Наука

[9] Имущественное неравенство во Франции значительно сильнее, чем в Англии и в ФРГ. (См. данные в «Монд», от 12 июня 1970 г.)

— это капитализм». Поэтому такая культура неспособна указать направления, которые соответствовали бы проблемам, стоящим перед современным миром; и в данной области мы также можем утверждать, что революция произойдет не в Западной Европе.

Безусловно, Западной Европе предстоят духовные перемены; но они будут продиктованы не изнутри, а извне, потому что людей, способных примкнуть к главному направлению, — явное меньшинство, и они далеки от средоточий власти. Запомним, что большинство европейских интеллектуалов одновременно принадлежит к «истеблишмент» в самом бюрократическом, официальном и административном смысле этого понятия и к оппозиции. Они одновременно и правители и революционеры. Поэтому они действуют и как класс, критикующий политическую олигархию, и как культурная олигархия, противящаяся любой критике, направленной против нее самой.[10]

[10] Трагикомическим проявлением этой ситуации является Венсенский университет, созданный в 1968 году как экспериментальная модель французского высшего образования в будущем. Принцип автономии управления университетом вскоре был заменен самовоспроизводящейся олигархией. Группы друзей, семьи в мгновенье ока обосновались в новом университете с еще большим бесстыдством, чем в старом.

6. НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ В ТРЕТЬЕМ МИРЕ

За последнее десятилетие возникла теория, согласно которой революция не может произойти в промышленно развитых странах мира. Либеральные и полулиберальные режимы этих стран, как обычно утверждается, удобно предусмотрели и предвосхитили цели революционеров и в результате относительного процветания уменьшили потребность в революции путем удовлетворения материальных нужд трудящихся. И наконец, эта вездесущая гидра пропаганды, чье вероломство обычно пропорционально степени свободы информации, извратила сознание людей и настолько сбила их с толку, что они предпочитают немедленное частичное удовлетворение своих требований полной свободе в будущем.[1]

Следствием этого убеждения была тенденция искать источник революции в странах третьего мира, среди народов, живущих в подлинной нищете. Были такие французы, которые всерьез верили в 1960 году, что если во Франции произойдет революция, то она

[1] В этом легко распознать реформистско-революционную двойственность, гибельную для любого действия и характерную для Конституционной Ассамблеи 1789 года. Ассамблея была реформистской, так как она собралась для превращения монархии в конституционную монархию; поэтому она не должна была выполнять законодательных функций.

обязательно начнется среди маки Алжира. Сегодня эти же самые французы перенесли свои надежды на партизан Латинской Америки или на палестинских арабов. Когда речь заходит о применимости этого же положения к нашим обществам, в ответ слышишь даже такое: фашизм — и то обладал бы бо́льшим потенциалом, чем аморфный, полурепрессивный либерализм, потому что тогда по крайней мере противостоящие лагери были бы четко выражены и план борьбы ясно определен.

Такого рода отношения свидетельствуют, прежде всего, о боязни сложностей, а кроме того — о плохой памяти: мы забываем, что промышленные государства мира уже являются продуктом Первой революции, начавшейся в восемнадцатом веке и ускорившейся в девятнадцатом. Проблемы будущего должны решаться как таковые, даже если они не всегда соответствуют уже решенным проблемам. Миф о революционном третьем мире — я имею в виду третий мир, который неизбежно и автоматически революционен — это свидетельство тоски о прошлом или же порабощенности прошлым. Совершенно очевидно, что нельзя начинать революцию в политически либеральном промышленном обществе копированием тактики крестьянского восстания в феодальные времена или тактики освободительной войны в колониальных странах. Не более достоверно утверждение, будто революция, даже первоначально успешная, может распространиться с менее организованных на более организованные общества, будто, к примеру, кастроизм может охватить ФРГ или Великобританию. Поэтому вряд ли вероятно, что слаборазвитые страны станут революционной моделью для индустриальных держав.

Возможно ли им послужить моделью для самих себя? Можно представить себе «сверхтипичную» революцию третьего мира, результаты которой были бы следующими: освобождение третьего мира от империализма богатых стран, экономическое развитие, поли-

тическая организация. К сожалению, один из результатов условий жизни в слаборазвитом мире — слаборазвитость революций. При обсуждении ответственности империализма за отсталость третьего мира следует выяснить, что является причиной, а что — следствием. Но пока отметим только, что у стран третьего мира нет иного выбора, как между двумя империализмами, исключая, конечно, их собственный империализм, направленный ими самими друг против друга, империализм, которым не всегда можно пренебречь. Нас интересует вопрос: может ли произойти революция в третьем мире при той или иной системе империализма. Мне это кажется невозможным по следующим причинам.

Прежде всего, необходимым условием революции в третьем мире является немедленное решение проблемы экономической слаборазвитости, и такое решение должно давать странам третьего мира возможность самостоятельно его осуществлять. Но даже те страны третьего мира, которые обладают достаточными ресурсами для такого начинания, не смогут использовать их эффективно из-за отсутствия административных возможностей, удовлетворительного руководства и персонала управления.

Вторая причина заключена в том, что большинство стран третьего мира управляются авторитарными режимами без демократических традиций, что ведет к порочному кругу: некомпетентность — диктатура — коррупция — государственный переворот — чистка — усиленная диктатура — еще большая некомпетентность — еще большая слаборазвитость.

Мой третий аргумент — почти полная погруженность стран третьего мира в прошлое в том, что касается культуры. Более того, в пылу страстного стремления «найти собственные корни» они проявляют тенденцию все больше уходить в прошлое и таким образом эффективно тормозить любой прогресс: религия ислама, племенная организация Черной Африки, кастовый

строй в Индии и т. д. Традиционная концепция семьи, мужская гордость числом детей, нежелание бедных пользоваться противозачаточными средствами, религиозные верования и, наконец, невежество — все это служит своего рода тормозом культуры и значительно увеличивает трудности снижения рождаемости. В результате уровень демографического роста по-прежнему превосходит уровень экономического роста.

Четвертая причина: дух национализма в третьем мире исключает любую тенденцию к самокритике и склоняет людей приписывать слаборазвитость их стран заговорам против них. Каждая война за национальную независимость стократно усиливает национализм, и это вполне справедливо; но по достижении независимости национализм ведет к ксенофобии и расизму, становится препятствием развития и в конечном итоге заставляет искать компенсацию за экономические неудачи путем военных авантюр. И, конечно, эти попытки ведут к новым экономическим неудачам. Маневры революционного лидера в этих странах очень непросты, так как для пробуждения масс он должен обращаться к национализму и возрождать традиционные ценности. Боливийский дневник Че Гевары ясно показывает, до какой степени в тех районах, где господствует неграмотность, крестьяне равнодушны к политическим и социальным лозунгам. Но последующее превращение национализма в настоящую революцию — дело, которое до настоящего времени редко кончалось успехом и, уж во всяком случае, никогда не приносило прочного успеха. Взять национализм и переименовать его в социализм еще недостаточно для того, чтобы получить конструктивные результаты.

Суммируя изложенное выше, можно сказать, что в третьем мире не может произойти революции, пока не произойдет сдвига в его экономическом развитии; а такой экономический сдвиг невозможен без помощи действительно революционной промышленно развитой страны. Революция невозможна еще и потому, что этим

странам не хватает политического и административного опыта, в результате чего революции ведут к созданию олигархий и диктатур, не относящихся ни к правым, ни к левым. Вслед за тем их нейтрализует возврат к культурным традициям, тогда как революция обязательно должна создавать новую культуру. Наконец, революцию нейтрализует национализм, то есть, так сказать, фольклор.

Наиболее вероятно, что эти наблюдения будут названы реакционными. В конце концов, одной из главных задач деколонизации было стремление дать возможность угнетенным народам вновь обрести свой собственный культурный облик. Франц Фанон в своей книге «Проклятые мира сего» громогласно заявил, что всякая революция в третьем мире должна осуществляться в рамках наций и что интернационализм будет бессилен в этих странах без полного пробуждения народов. Если допустить, что для колониальных народов освобождение состоит прежде всего в отрицании другого народа и что это отрицание предполагает прохождение полного круга, прежде чем будет достигнута точка отчуждения от самого себя, тогда странная концепция революционера, погруженного в прошлое, совершенно не удивительна. Даже в Европе 1848 года революционные движения совпали с возрождением национализма. Итальянское Возрождение было процессом деколонизации по отношению к Испании, Австрии, Франции и папству. Сегодня мы все еще говорим о Европе в смысле национальных регионов. Исторически сложившиеся группы — каталонцы, бретонцы, уэльсцы, фламандцы, баски — все эти ныне несамостоятельные народности адресуют свои протесты против господствующих наций к Европе в целом, или, вернее, к подлинно европейским народам, в противоположность европейским государствам.

Само разнообразие примеров говорит о неясности используемых концепций. Некоторые из упомянутых групп — угнетенные и обездоленные сейчас либо в

прошлом (в смысле культуры) — находятся в экономически развитом районе. Другие живут в районах, наиболее сильно страдающих от слаборазвитости — особенно в Африке, — и не от относительной слаборазвитости (как, например, Бретань по сравнению с Парижем), а от самой настоящей, фундаментальной слаборазвитости, главной характеристикой которой является отставание уровня экономического роста от уровня демографического роста. В первом случае — в пределах экономически развитого района — некоторые группы, находящиеся в процессе «деколонизации», экономически более динамичны, более богаты, чем их бывшие «колонизаторы»: фламандцы по отношению к своим валлонским колонизаторам, например; в политическом же отношении они более реакционны.

Дело в том, что обособление не обязательно совпадает с революционностью. Ирландцы обособились от англичан, а затем превратили свою страну в самое отсталое и самое обскурантистское государство Европы, так что сегодня среди англичан революционный потенциал намного выше, чем среди их вчерашних жертв. Безусловно, нация имеет право на возрождение своего прошлого; но нет гарантии, что осуществление этого права автоматически вызовет революционный динамизм. Этот динамизм требует, чтобы культурное освобождение было созидательным, чтобы оно сопровождалось политической реформой и экономическим прогрессом.

В романе «Венок для Майкла Удомо», частично воспроизводящем биографию Кваме Нкрумы, Питер Абрахамс[2] вкладывает в уста своего героя, африканского лидера, следующие слова:

«У нашей страны есть или, вернее, были три врага. Из одного из них я сделал союзника. Но врагов все-таки три. Первый — это белый человек. Затем — нищета.

[2] Негритянский писатель-романист; родился в Иоганнесбурге.

И наконец, — прошлое. Это три наших врага. Когда я сюда приехал, я считал, что мне противостоит только один враг — белый человек. Но как только я избавился от него, появились два других; и они даже сильнее и опаснее, чем белый человек. По сравнению с ними белый человек выглядит почти союзником. Поэтому я превратил его в союзника, который на нашей стороне борется с нищетой. Теперь он работает для нас, чтобы те, кто придет после нас, имели кусок хлеба и крышу над головой. Теперь у нас есть школы и больницы. Наша молодежь просыпается от спячки. Как вы думаете, почему я истратил столько денег, посылая их за границу? Потому что они мне нужны для борьбы с третьим врагом: прошлым... Для соблюдения традиций мне пришлось исполнять ритуалы джуджу, я участвовал в жертвоприношениях, я простирался перед алтарями предков. Больше я этого делать не буду. Теперь достаточно молодежи, отбросившей эти устаревшие суеверия, и я смогу искоренить все отвратительное в нашей жизни. И ты, Селина, и ты, Адебори, которого я когда-то любил как брата, вы — прошлое. Я уничтожу вас, потому что вы — препятствие на пути развития новой Африки. Идите, боритесь со мной на партийной конференции, и вы увидите, кто победит. Вы пришли слишком поздно, друзья мои. Слишком поздно...»[3]

Наболее реакционным из всех возможных в третьем мире союзов, вероятно, может стать союз социализма и прошлого. В своем сочетании он увековечивает экономическую стагнацию, оправдывая политическую диктатуру. Вопрос о мировом социализме в 1970 году заключается не в том, как установить социализм, чтобы совершить революцию, а в том, как установить

[3] Этот отрывок цитируется Ивом Бено в книге «Идеологии африканской независимости», издательство Масперо, 1969 г. Г-н Бено, называющий себя «безусловным сторонником марксизма», считает этот отрывок «концентрацией подлинной истории», обнажающим «смысл этой истории больше, чем все исследования социологов и экономистов».

социализм, чтобы *тем не менее* революция произошла. Удивительное разнообразие африканских социализмов — черный социализм Сенгора, спиритуалистский социализм Кофи Баако, аскетический социализм Ньерере — на самом деле прикрывает глубокий консерватизм. «Африканский социализм — теория разочаровывающая; он означает, что ничто не изменится. Но, тем не менее, он дает патриотическое удовлетворение вместо конкретных проблем развития», — пишет Ив Бено в своей книге. Таким образом, можно усомниться в прозорливости Чжоу Энь-лая, провозгласившего после своей поездки в некоторые африканские страны в 1964 году, что «революционные перспективы великолепны для всего африканского континента». Правда состоит в том, что если социализм не смог вызвать революцию в царской империи с ее прочно установившимися государственными и административными традициями, которая уже начала индустриализацию, то в высшей степени невероятно, чтобы в странах третьего мира созрели условия для подлинно революционного социализма. Социализм в этих странах — всего лишь заимствованный термин, который иногда связывают с неэффективной коллективизацией, навязанной неподготовленным к ней людям. В данном случае это тоже имитация, а не решение, продиктованное изнутри проблемами этих стран. Она не дает решений, необходимых для того, чтобы люди могли преодолеть бедность и включиться в политическую реальность. Для них это не революция, иными словами — не преобразование, которое было бы чем-то противоположным их отчуждению.

Было бы ошибкой считать, что колонизация — единственная причина слаборазвитости. В Северной Африке, например, Ибн Халдун уже в 14 веке смог описать «структурную статичность»[4] мавританского

[4] Выражение Ива Лакоста, автора книги «Ибн Халдун — рождение истории прошлого третьего мира», Париж, 1966.

общества. Эта статичность или длительная стагнация, начавшаяся в конце средневековья, обусловила возможность колониальных завоеваний девятнадцатого века и была первопричиной слаборазвитости. Слаборазвитость — это не эквивалент бедности; почти все человечество жило в бедности, пока не начался процесс роста. Практически бедность сама решает свои демографические проблемы. Но слаборазвитость — явление современное, результат революции в области здравоохранения, стимулирующей демографический рост, но не обеспечивающей соответствующего экономического развития. В Европе демографический рост скорее следует за экономическим, научными знаниями, промышленной революцией и за революцией в области здравоохранения, а не предшествует им. Здесь ресурсы увеличиваются по мере роста населения, причем это явление в обоих случаях имеет общую причину: прикладную науку. В третьем мире дело обстоит иначе. Слаборазвитость можно связать с двумя причинами: «структурная стагнация» и колонизация. Если бы не вмешательство Европы, государства третьего мира возникали бы или распадались сами по себе, хотя трудно представить, что так могло бы быть. Но, встретившись с технической цивилизацией, они неизбежно должны были либо стать ее активными и творческими участниками, либо исчезнуть. Одной из стран, которая это поняла, является Япония.

Это новое начало предопределяет не только заимствование западной техники, но и изменение социальных, культурных и политических условий, которые делают это начало возможным. Многие правители третьего мира не уловили этого. Они, вероятно, считают, что массированные инъекции кредитов и технической помощи в традиционалистские общества явятся достаточным средством, чтобы вызвать экономический прогресс. Но такой прогресс предполагает политическое преобразование, а не просто имитацию революции, которая зачастую оказывается просто государственным

переворотом, совершенным военными, и по случаю называемую «социалистической». Культурная оригинальность состоит не в том, чтобы возрождать прошлое. Безусловно, мир завтрашнего дня не будет означать униформизма образов жизни. Должно возникнуть новое разнообразие, но никак не в результате зависимости от традиций — которые, какими бы оригинальными они ни представлялись извне, даже приблизительно не годятся для жизни, — а в результате свободы и созидания. Это должно быть свободно избранное разнообразие, а не искусственно созданная туристская достопримечательность.

У меня нет намерения отрицать права народов на культурную оригинальность или их права на разнообразие культур и образа жизни. Но должен сказать, что практика отрицания единообразия технической цивилизации во имя традиционных культур или образов жизни, унаследованных от древних систем производственной и социальной организации, представляется мне ошибочной. Единообразие будет устранено не оживлением прошлого, а ростом индивидуального созидания, который стал возможным с приходом технической цивилизации, и либеральных обществ, независимо от мнений тех, кто эти общества осуждает. Само существование таких людей служит иллюстрацией к тому, о чем идет речь. Образы жизни, заимствованные из нашего допромышленного прошлого, во всех отношениях были искажены или видоизменены результатами и практикой обществ, созданных промышленной революцией. Единственный оставшийся вопрос состоит в том, удовлетворятся ли более старые общества крохами со стола новых обществ или же они сами станут творцами? Первая гипотеза: они все больше будут зависеть от технически развитых обществ, но в их самом бесполезном аспекте, сохраняя прошлое, которое будет слабеть все больше и играть все более отрицательную роль; кончится это тем, что они по-прежнему будут жить в атмосфере шаманства, «под-

слащенной» кока-колой. По второй гипотезе возникнет культурная оригинальность, культурное своеобразие, соответствующее современности, и люди этих обществ не только будут принимать участие в жизни промышленных обществ, но и станут участниками процесса созидания.

В общем, обвинение в единообразии промышленных обществ вполне справедливо можно назвать искусственным. Более совершенная техника, более совершенный продукт заменяют все предшествовавшее им, как только они становятся известными, потому что люди предпочитают их всему остальному; и причина этого предпочтения настолько очевидна, что ее нельзя игнорировать, не рискуя показаться наивными. Кроме богатых на их загородных виллах, никто теперь не предпочитает готовить на костре, когда есть газовая плита. Орудия из камня исчезали повсюду, как только становились доступными орудия из металла; и происходило это без помощи «обманчивой рекламы». Следует надеяться, что новейшие способы печати, совершеннейшие методы и материалы строительства, наиболее эффективные средства передвижения будут быстро распространяться, потому что они экономят затраты человеческих усилий и дают более высокие результаты. В этом смысле единообразие является преимуществом.

Это, несомненно, неверно в отношении единообразия культуры, которое зачастую больше тормозит развитие старых, традиционалистских обществ, чем обществ более развитых. На практике техническое изобилие открывает возможности для возникновения неожиданных культурных меньшинств (одним из примеров могут служить хиппи), возможности разнообразия образов жизни и — возьмем первое, что приходит на ум — разнообразие творческих стилей, форм творчества и форм моды. Благодаря высокому техническому уровню развития Соединенных Штатов американские товары, американская космическая техника и даже американские обычаи быстро распространились на страны относитель-

но высокого уровня промышленного развития; мы даже говорим теперь об «американизации» Германии и Северной Италии. Действительно, находясь в Германии, можно думать, что находишься в Соединенных Штатах; но будучи в Соединенных Штатах, не обязательно чувствуешь, что находишься в Америке. Многообразие жизненных стилей в этой стране сохранилось в большей степени, чем в Европе, потому что эти стили скорее дифференцированы в рамках индустриального общества, а не являются остатками прошлого. Можно жить по-одному в Аризоне и совершенно по-другому в Нью-Йорке, в Калифорнии или в Мэне, хотя повсюду образ жизни будет одиноково современным. Это не выбор между метро Парижа и реставрированным монастырем Бургундии. Американское разнообразие не только оборонительно по своему характеру.

Наконец, следует отметить, что американизация мира — это не только результат американского технического превосходства, но и результат использования эстетического воображения (которое ярче, чем где-либо, выражено именно в Соединенных Штатах) в изобразительном искусстве, в новых музыкальных формах, в звукоизобразительном искусстве, в мебели и в театральном искусстве. Можно, конечно, утверждать, что прототипы современной мебели или архитектуры были итальянского или скандинавского происхождения. Но факт остается фактом, что американцы, а не скандинавы или итальянцы, превратили эти прототипы в повседневную реальность. Они превратили их в стиль, в норму комфорта и эстетики — как в частных домах, так и в общественных местах, на кухне и в учреждении. Они сформулировали «искусство жизни», которое значительно более доступно и более подлинно, чем европейское, при всех аристократических (и надуманных) претензиях последнего. Таким образом, единственной опорой многообразия культуры явится техническое еди-

нообразие; и это будет многообразие культуры, направленное не на сохранение, а на открытие. Меньшинства будущего будут создаваться на основе выбора, а не обычая.

В прошлом многообразие культур уравновешивалось униформизмом личностей внутри этих культур. Иначе говоря, культура создавала личности. В будущем личности будут создавать культуру. Культуры прошлого, даже отличаясь друг от друга, создавали похожие друг на друга личности. Поэтому — и этот процесс уже начался в Соединенных Штатах Америки — личности, на основе своих предпочтений, будут перегруппировываться, чтобы создавать системы культуры, которые не будут полностью обусловлены системой производства. Мы склонны быстро забывать деспотизм наших традиционных культур — тюрьмы, которые мы называли деревнями, племенами, приходами, корпорациями, семьями.

Безусловно верно, что каждая цивилизация, каждая группа — даже самая примитивная и самая варварская — активизировали, так или иначе, какой-то аспект человеческого потенциала, который в других обществах подавлялся или даже совсем не проявлялся. Но никогда не представлялось возможным изменить культуру без изменения общества, если только человек не был в таком редком и привилегированном положении (как Монтень), когда можно наблюдать и сравнивать различные обычаи. Одним из результатов всемирной революции как раз и должно быть освобождение личности от культурного рабства внутри группы, в которой он в силу случая был рожден. В конце концов это поведет к социальному единообразию в масштабах планеты и к полиморфизму культуры, управляемому выбором и различными открытиями внутри общества. В результате общество, где революция имеет сейчас лучшие шансы на осуществление, это такое общество, в котором идет двойственный процесс: напряженность между

социально-экономическим единообразием и культурным полицентризмом, возникшим в результате многообразия инициатив, а не столкновения традиционных убеждений и обычаев предков, навязанных личности.

Трудно себе представить, каким образом революция, способная преобразить третий мир политически, в культурном и социальном отношении, а также экономически, может произойти без громадной глобальной (и бескорыстной) помощи со стороны развитых стран. Это ведет нас к начальному утверждению, которое предполагает новый тип революции в самих развитых странах.

7. ОТ ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ КО ВТОРОЙ

В наше время значение термина «революция» расширено до такого предела, что он охватывает все виды мелких волнений и неоправдавшихся намерений. Когда люди встают на борьбу за свою независимость против иностранного угнетения — как это было во время «алжирской революции» или «венгерской революции» 1956 года, — это не революции в прямом смысле слова, а восстания. Человек не обязательно революционер, когда он борется за свою жизнь или бежит из тюрьмы. Я бы даже сказал, что наличие внешней опасности имеет тенденцию к замедлению и искажению революционного развития, так как это развитие имеет своей главной задачей полную перестройку общественного порядка и человеческих отношений. Как мы уже видели, освободительная война может совпасть с чисто революционной программой (так было во время Первой американской революции). Но ее результаты могут быть и совершенно не связанными с революционным содержанием, даже если она и использовала методы и фразеологию революции в своей начальной фазе. Крайне бурные и насильственные восстания — например, Парижская коммуна 1870 года — рискуют быть непринятыми обществом в его целом, когда такое общество не готово передать данный опыт действенным

учреждениям. Так часто бывает, когда восстание совпадает с крушением режима и когда это крушение — результат главным образом поражения в войне с внешним врагом. В таких случаях тяжелые условия страны позволяют восставшим захватить центры средоточия власти или, по крайней мере, занять правительственные здания с обманчивой легкостью; но это совершенно не значит, что большинство общества готово принять радикальную и окончательную перемену. В такой ситуации может произойти одно из двух: либо восставшее меньшинство сохранит за собой центры средоточия власти только до тех пор, пока они не действуют, и утратит их, как только жизнь страны начнет возрождаться и организовываться (так случилось с Парижской коммуной), либо восставшие сохранят власть, но, столкнувшись с повсеместно отвергающим их обществом, неспособным удовлетворить желаний правительства, они посчитают себя вправе установить диктатуру. И естественно, однажды начавшись, она уже не может в силу своего характера перестать быть диктатурой, чему мы были свидетелями в событиях, происшедших в России после октября 1917 года. Когда государство становится не более чем средством сохранения государства, тогда его происхождение не имеет существенного значения. В любом случае оно тоталитарно, а потому и реакционно. Неверно думать, что сталинизм представляет собой измену ленинизму. Ни Ленин, если бы он жил дольше, ни Троцкий, останься он у власти, не действовали бы иначе, чем Сталин. Все, что они писали между 1917 и 1924 годом, все, что они в то время говорили, отражает в общих чертах практику диктатуры сталинского типа. Они начали в январе 1918 года роспуском Учредительного собрания, созданного путем выборов — выборов, в которых большевики получили лишь четверть голосов. С этого момента, как справедливо отметила Роза Люксембург в своей работе «Русская революция», Ленин и Троцкий действовали, исходя из принципа, что они знают людей

лучше, чем те знают самих себя. Как заметил сам Ленин на десятом съезде партии, проходившем в марте 1921 года, только партия «одна способна объединять, воспитывать и организовывать авангард пролетариата и всех трудовых классов — этот авангард есть единственная сила, которая способна противостоять неизбежным колебаниям мелкой буржуазии». Троцкий добавил по этому поводу, что «партия намерена сохранять диктатуру, несмотря на временные колебания и даже несмотря на преходящие сомнения рабочего класса».

Если проводить различие между революционным начинанием и революцией, если судить о революции не на основе преходящих явлений, если верить, что единственными настоящими результатами являются результаты долгосрочные, если считать революционными только согласованные и перманентные трансформации, которые характеризуют переход от одной цивилизации к другой, — если мы на все это способны, тогда какое же событие истории может дать нам представление о революции в мировом масштабе?

Только одна революция в истории соответствует этим предпосылкам, за исключением той, которую мы ждем, или той, которая, как мы надеемся, происходит в наше время. Это был комплекс политических преобразований, имевших место во второй половине восемнадцатого века в Англии, в Соединенных Штатах и во Франции. Английские корни этих изменений уходят дальше, в семнадцатое столетие, а за результаты их шла борьба во Франции и на европейском континенте на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков. Но даже отступления, реставрации, контрреволюции происходили уже в рамках, созданных новой цивилизацией, порожденной Первой революцией. Власть поэтому нашла свой источник в тех, кто принял ее, или, вернее, в тех, кто ее передал и кто позволил ее осуществлять — концепция договора заменила концепцию божественного происхождения власти или права сильного; сила закона пришла на смену личной силе

и власти; эгалитарное общество заменило собой общество иерархическое; произошло отделение церкви от государства; знание и вообще культура освободились от политического и религиозного контроля. Все эти достижения, несмотря на их неустойчивость, на известное лицемерие в их осуществлении, а иногда и жестокую отмену их, послужили перестройке политического облика мира. И эта революция, при всех обстоятельствах, чаще выполняла обещания, чем нарушала их, и создала мир, который более или менее соответствовал или, по крайней мере, был похож на ее первоначальные идеалы. Другими словами, это была единственная до настоящего времени революция, которая удалась.

Когда судишь об успехе революции, нужно уметь быть великодушным, потому что это — гигантское свершение, даже если революция создает не зеркальное отражение того общества, которое она намеревалась создать. В случае с Первой всемирной революцией (несмотря на все ее несовершенства) можно смело сказать, что она претворила в жизнь больше, чем не осуществила. В конечном итоге это справедливо для тех районов, которые были в центре политических трансформаций. В других районах ее «применение» было скорее теоретическим, чем практическим, потому что, как уже неоднократно отмечалось, юридическая и представительная демократия может действовать эффективно только в условиях тех культур, в которых она возникла или с которыми она исторически связана. Тем не менее поразительно, что для значительного большинства обществ, которые ранее приняли или осознали концепцию государства, эта революция явилась новым политическим образцом, а результаты ее — необратимыми. Все ей подражали, даже если и неудачно. Тоталитарные режимы, и те укрылись за конституциями и комедией выборов, заявляя в то же время, что относительно честные выборы в других странах — комедия. Открытые нападки на принципы Первой революции (например, нападки нацизма) осуществлялись с по-

зиций этих же самых принципов, которые заменялись более эффективной и последовательной системой представительства. Точно так же обстоит дело, хотя и в другом контексте, и с более благородными намерениями, но с аналогичными доводами (и аналогичными оскорблениями), когда речь идет о «демократическом централизме» и диктатуре пролетариата. Таким образом, комплекс событий конца восемнадцатого столетия создал единую систему исходных данных как для тех, кто ее приемлет, так и для тех, кто хочет от нее избавиться. Подводя итог по истечении двух веков, мы можем заключить, что Первая революция *действительно произошла,* а это для революции большая редкость. До сих пор это была единственная удавшаяся революция.

Что касается Второй всемирной революции, ясно, что она должна иметь только одну цель, от которой зависит все остальное. И эта единственная цель — установление всемирного правительства. Так же как Первая всемирная революция состояла в замене деспотизма правителей во внутренних делах учреждениями, Вторая всемирная революция должна заменить учреждениями деспотизм в делах международных, или более точно — ликвидировать сами международные отношения как таковые. От этого зависит все остальное, включая экономическое равенство и уничтожение социальных классов.

8. ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ТЕРРОР И КОНЕЦ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Что означает понятие «всемирная революция»? Оно означает просто революцию. Революция двадцатого века может быть либо всемирной, либо ее вообще не будет. Смысл «революции двадцатого века» заключается в том, что она должна решить проблемы двадцатого века. Какие это проблемы? Их не трудно перечислить, но я назову лишь несколько, от которых зависит не только прогресс человечества, но и само его дальнейшее существование: необходимо устранить угрозу атомного самоубийства; мы должны осуществить разоружение и положить конец войнам; мы должны стабилизировать уровень рождаемости; мы должны сгладить различия между уровнями жизни, а также защищать и использовать природные ресурсы в соответствии с единым планом их сохранения и развития. Даже такой краткий перечень достаточен, чтобы стало ясно, что эти проблемы могут быть решены лишь в общепланетном масштабе всемирным правительством. Единственно возможная цель для революции сегодня — это всемирное правительство, потому что только такая цель может придать действенность революции. И это правительство должно быть создано таким образом, чтобы отношения, основанные на объединении, заменили собой отношения, основанные на господстве, с тем, чтобы материальные и интеллектуальные ресурсы человечества стали общим достоянием.

Нет ничего более наивного, чем обвинение в политической наивности в адрес всех предложений, направленных на создание наднациональной власти, ибо нет ничего более ограниченного, чем субстанциалистская и эссенциалистская концепция наций, утверждающая, будто их облик навечно вписан «в саму природу вещей». Пропагандисты этой концепции забывают, что современное государство и нация появились в результате Первой всемирной революции, что они были построены на развалинах многочисленных систем, основывавшихся на феодальных, религиозных, провинциальных, корпоративных, семейных и военных связях, которые возникали из источников власти и распределения власти и которые практически бессмысленны для нашего понимания. А для человека, жившего при той «природе вещей», эти системы представлялись нерушимыми. Французская «внешняя политика» — выражение, противоречивое само по себе, — сегодня служит последним прибежищем политического анахронизма, любимое поле игр в нарциссизм, предпочитаемый старомодными государственными деятелями. Это игра, в которой подобные люди превращают все свои регрессивные импульсы и стремления в фантастические ситуации: соперничество, конкуренция, ухищрения, демонстрация силы, вооруженные столкновения, ритуал тщеславия, совершенно бесполезные церемонии официальных визитов, санкционирование унижений или самоунижений, оскорблений или почестей, утраты или спасения «престижа». Вся эта суета совсем не существенна для главных решений, которые следует принять. Более того, она стремится отвлечь людей от серьезных вопросов, которые должны занимать их умы. Совершенно ясно, таким образом, что государство-нация может только служить для поляризации наиболее регрессивных тенденций людей и их правителей, что оно поощряет выбор правителей среди самых агрессивных, циничных и беспринципных людей — иначе говоря, среди тех, кто наименее

всего способен понять современный мир и улучшить его состояние.

Если перефразировать известную формулу Клаузевица в формулу «внешняя политика — это война, начатая другими средствами», тогда можно заключить, что устранение того, что мы называем внешней политикой, будет одним из основных компонентов будущей всемирной революции, ключом ко всем остальным изменениям, которые ее составляют.

По сути дела, внешняя политика — это война в том смысле, что не существует такой действенной политики, которая не предполагала бы угрозу войны. «Дипломатические отношения» неэффективны, если они не являются одной из сторон альтернативы, причем другая сторона это — война или, по крайней мере, ее невоенная версия, как например, расторжение союза, саботаж международных конференций, словесные нападки, радикальные девальвации денежных единиц, повышенные таможенные тарифы, высылка иностранных граждан, запрет пролета самолетов и т. д. Но теперь впервые в истории не звучит утопией утверждение, будто возможно положить конец войнам, потому что впервые в истории отсутствие войн стало необходимостью. Как заметил Пруст, болезнь — единственный врач, который может добиться подчинения больного. Человек эпохи после 1945 года — первый, кому пришлось столкнуться с возможностью исчезнуть как вид с лица земли. И когда единственный выбор человека — это выбор между необходимым миром и коллективным самоубийством, тогда шансы мира довольно благоприятные. Мы, конечно, не можем игнорировать убийственной межрасовой вражды. Это явление, описанное психоаналитиками, есть средство, с помощью которого мы переносим собственную агрессивность на кого-то другого, а потом, воображая, что этот другой нам угрожает, начинаем ему грозить с тем, чтобы спровоцировать его на нападение в надежде, что он нас уничтожит. В современных обществах это «желание

смерти» настолько контролируется, что оно не является серьезным препятствием в отношениях между индивидуумами; и нет оснований считать, что подобного же результата нельзя достичь в отношениях между обществами.

Безусловно, мы не должны пренебрегать «побочными выгодами» нашей прустовской болезни. Наличие «внешней политики» — причина стагнации и отступления. Укрепляя паранойю национализма и узаконивая самые реакционные режимы и самые слепые направления общественного мнения, «внешняя политика» всегда была главным препятствием каждой революции или главным средством нейтрализации результатов революции. Внешняя опасность или «международные заговоры» дают правительствам повод надолго откладывать решения насущных проблем в интересах ликвидации искусственных кризисов. Они также позволяют сохранять консерватизм или диктатуру во имя общественной безопасности. Более того, нет ничего легче, чем вызвать в воображении — или действительно создать — иностранную угрозу. Человеческая агрессивность и стремление к самоуничтожению, которое оно скрывает, чрезмерное упрощение реальности, становящееся возможным благодаря навязчивой идее преследования, психологическое облегчение, наступающее в результате такого упрощения, и вызываемая им интеллектуальная лень — все это облегчает мобилизацию масс на поддержку миссии, которая так же навязчива, как и эфемерна; облегчает еще и потому, что четыре пятых человечества не имеют другого источника информации, кроме государства, которое ими правит (или утверждает, что правит). Поэтому нас не должно удивлять, что начиная с 1945 года каждые пять месяцев в мире происходил вооруженный конфликт.[1] Не должно нас

[1] Подсчитано Дж. Тайером в его книге «Военный бизнес», Лондон-Нью-Йорк, 1969.

удивлять и постоянно указываемое специалистами по военным проблемам невероятное несоответствие между «целями» войн (даже когда они достигаются, что бывает очень редко) и потерями, которые они вызывают во всех областях. Бо́льшая часть (если не вся) внешней политики имеет своим источником политическую патологию. А такая патология существует, даже если всевозможные толкования истории, сформулированной под углом зрения экономики или распределения экономического господства, и не принимаются во внимание. Психология и психосоциология продемонстрировали, что политическая «осведомленность» оказывает слабое влияние на причинность патологии. Только различные институты могут обуздать и выявить ее патологический характер.

В отношениях между семьями, религиями, между городами, профессиями, конкурирующими фирмами, между социальными классами, составляющими национальную группу, объединенную в общей легальной системе, давно уже признается, что индивидуального убеждения, каким бы справедливым оно ни было, еще не достаточно, чтобы брать осуществление правосудия в свои руки. Трудно понять, почему столь субъективный принцип приобрел силу закона в международных отношениях. Это парадокс, который Жан Моннэ — наш современник, имевший достаточный опыт с этим явлением — обличил с бо́льшим красноречием:

«Я поражен разницей принципов, которые мы применяем в пределах собственных границ и которые мы применяем вне этих пределов. У себя дома люди давно научились, как разрешать противоречия различных интересов, они больше не прибегают к силе, защищая свои интересы. Правила и институты создали статус равенства. На международном уровне, тем не менее, страны ведут себя так, как вели бы себя индивидуумы, не будь ни законов, ни институтов. В конечном счете каждая страна стремится сохранить свой суверенитет; иначе говоря, она присваивает себе право быть одно-

временно и собственным судьей и собственным прокурором».[2]

Такое положение вещей будет представляться столь же невероятным людям грядущего, как нам представляется сегодня право отца распоряжаться жизнью и смертью своих детей, право, которое, тем не менее, поддерживается в форме современной войны.

Таким образом, Вторая всемирная революция положит конец злу, лежащему в основе всех зол: понятию «национального суверенитета». Невозможно с чисто практической точки зрения, и даже абстрагируясь от моральных соображений, продолжать поддерживать принцип, в соответствии с которым государство может послать в тюрьмы или уничтожить часть своего населения, или обречь его на голодную смерть, никому не позволяя оказывать ему помощь. потому что запрещено «вмешиваться во внутренние дела другой страны». Этот же самый принцип раньше позволял отцу убивать своих детей без угрозы внешнего вмешательства, так как он был хозяином своего дома. Первым последствием псевдопринципа внутреннего всесилия является дозволенность для любой олигархии мучить и унижать граждан, как если бы они были ее собственностью, а затем создавать напряженность, ведущую к международному конфликту. Более того, в международном масштабе с практической точки зрения точно так же невозможно позволить любой исторически случайной общности людей, которую мы называем нацией, ставить под угрозу существование всего человечества под предлогом осуществления ее так называемого суверенитета. А именно так обстоит дело в наше время — время военных теорий типа «домино», атомного и бактериологического оружия.

[2] Цитируется по книге А. Сэмпсона «Анатомия Европы», Лондон-Нью-Йорк, 1969.

Благополучно выйти из этой абсурдной ситуации нам позволит только многосторонее соглашение о взаимном контроле, ведущее к многонациональному закону в общепланетном масштабе. Как чумы следует избегать двусторонних соглашений, потому что они — лишь структура для подобной войнам внешней политики, для местных гегемоний и для империалистического господства — воображаемого или реального. Генерал де Голль, например, приходил в ужас от всего многонационального в дипломатии, и его мечтой было заменить все международные соглашения двусторонними союзами, где Франция, безусловно, занимала бы, по крайней мере в представлении де Голля, главное место. Это была архаичная концепция. С незапамятных времен человек мог видеть, что двустороннее соглашение — это вообще не договор, потому что он по самому своему характеру дает право на его одностороннее расторжение. Вряд ли делает честь нашему самоуважению то, что человек, никогда этого не понимавший, может выдавать себя за дипломатического гения. Ведь подобный факт показывает, насколько мы, французы, примитивны в области мировой политики. Если, например, член правительства заявит, что получивший на работе увечье должен идти побираться, а не получать соответствующую компенсацию, такого члена правительства высмеют и выгонят. Но когда точно такое происходит во внешней политике, мы не видим тут ничего смешного.

Самым естественным для современного мира был бы не национальный, а международный суверенитет. Наиболее обычное возражение — международный суверенитет будет маскировать господство одних над другими точно так же, как «равенство перед законом» всех граждан страны является маскировкой в наше время. Я бы сказал, что это неглупо. Но я также сказал бы, что это и неумно, ибо тут смешиваются совершенно разные понятия. Только потому, что в нашем обществе существует социальная несправедливость, еще

не следует, что я могу убить другого человека, или взорвать дом, в котором я живу, уничтожив всех его жильцов. Как и гражданское общество, всемирный суверенитет сам по себе еще недостаточен для безопасности, но он несомненно нужен для нее. Чтобы человек был в добром здравии, он прежде всего должен быть жив. В этом как раз суть дела. Мы можем поэтому сказать, что понятие всемирного правительства — не утопично; пришло время убедиться, что либо оно возникнет, либо ничто не уцелеет.

Кроме гарантий существования и безопасности, всемирное правительство будет обладать естественным революционным импульсом, потому что оно заставит, наконец, человечество сосредоточить внимание на качественных проблемах, а не на количественном соотношении сил. До сих пор каждый шаг, каждое улучшение рассматривалось с точки зрения власти. Если в стране произошла революция, все считают, что страна стала сильнее, причем сама она чувствует себя обязанной доказать, что она на самом деле стала сильнее. Человечество настолько примитивно, что мы не можем говорить об успехе, выражаясь иными словами.

Критерии успеха для коммунистических стран давно уже перестали быть коммунистическими по своему характеру. Это критерии самой традиционной «реальной политики», основанные на таких понятиях, как «ядерная мощь», и совершенно равнодушные к новому духу человеческой свободы. Космические полеты русских и запущенный в апреле 1970 года китайский спутник расхваливались как большие свершения, и таковыми они являются. Но это большие свершения только в том смысле, в каком были большими свершениями первые ракеты, запущенные Гитлером в 1944 году. Выбор, предложенный Герингом немецкому народу — «пушки или масло», был решен коммунистическими режимами в пользу пушек. И сделали они этот выбор не только из-за своего расположения к

пушкам, но и потому, что не могли произвести масло. Достаточно вспомнить Италию времен Муссолини, чтобы не забывать, что принесение в жертву жизненного уровня народа ради политической власти, удобное использование шовинизма в качестве наркотика против соблазна протеста — все это классическая политика диктатур. Внутренние провалы, необходимость время от времени подавлять восстания в странах-сателлитах ведут к предпочтению военных задач государства. Легче стать ядерной державой, чем обществом изобилия; и чем беднее страна, тем больше ее стремление стать ядерной державой. Китайская пропаганда внутри страны преподносила свой спутник как чудо, потому что китайский народ очень плохо осведомлен о событиях в мире. Можно, например, вспомнить и то, что китайское правительство не сообщило своему народу о высадке американских астронавтов на Луне. Лишенные возможности сравнивать, семьсот миллионов китайцев, безусловно, чрезвычайно преувеличивают значение своего спутника в истории завоевания космоса. (Вполне вероятно, что для молодых китайцев, не знающих о запуске советского спутника в 1957 году, их спутник — первый в мире.) Совершенно очевидно, что коммунистам было бы необходимо наращивать свою мощь для защиты социализма, если бы только они его построили. Но с другой стороны, если бы они действительно построили социалистическое общество, то сила его примера была бы настолько велика, что отпала бы нужда в такой военной мощи. Учитывая заразительную силу даже миражей социализма, можно представить себе, как легко и быстро распространился бы подлинный социализм по всей земле. Но так как подлинного социализма не существует, то остается только реальность военной мощи, которая стала средством без цели.

Военная мощь есть не что иное, как другое название внешней политики. Она ведет только к самоубийственным войнам, когда идеологические факторы второ-

степенны; более чем когда-либо она стала источником человеческого несчастья и нищеты. С одной стороны, она поглощает те самые ресурсы, с помощью которых мы могли бы положить конец нищете; с другой стороны, она увеличивает нищету. Сегодня военные цели поглощают от семи до восьми процентов мирового производства — эквивалент уровня роста, который был бы достаточным, чтобы спасти третий мир и даже создать в нем уровень роста более высокий, чем в развитых странах мира. Эта доля, как было определено, равна примерно совокупному национальному доходу всех народов Латинской Америки, Ближнего Востока и юго-восточной Азии, включая Индию и Пакистан.[3]

Такие расходы фатальны, и не только непосредственно для экономики (слаборазвитые страны расходуют по своим военным бюджетам в среднем вдвое больше, чем получаемая ими иностранная помощь от развитых стран), но и косвенно (они лишают средств такие насущные области, как образование и здравоохранение). В мире сколько угодно поучительных примеров того, как люди сами не управляют собственными судьбами. Египет, две трети населения которого неграмотно, при среднем доходе на душу населения 150 долларов в год тратит 10% своего валового национального продукта на вооружение; к этому следует еще прибавить военную помощь Советского Союза. Китай при национальном доходе на душу населения 150 долларов в год (равном доходу Египта и Боливии, хотя он и ниже, чем в Иране и Береге Слоновой Кости) тратит на военные нужды от восьми до девяти процентов валового национального продукта.[4] Совершенно очевидно, что страдающее от таких расходов население не может

[3] А. Александер, «Цена мировых вооружений», журнал «Сайнтифик американ», октябрь, 1969. Данные относятся к 1967 г. Данные за 1970 г. еще выше.

[4] Данные за 1966 год; они должны быть пересмотрены в сторону повышения.

принимать участия в принятии убийственных для него решений и даже отдаленно не имеет представления о том, что происходит. Так как эта неосведомленность людей постоянно сохраняется, всесилие олигархии только увеличивается.

Эта непосвященность не столь велика в некоторых развитых странах, где все еще можно критиковать избыточные военные затраты. Но вплоть до настоящего времени эта критика была не настолько сильной, чтобы повлиять на военные расходы ведущих военных держав. Тем не менее некоторые народы поняли, что̀ это значит. Япония, где до сих пор каждое предложение о создании новой армии наталкивается на активное сопротивление общественного мнения, расходует на образование в четыре раза больше, чем на оружие, что в значительной мере предопределяет неизбежное вступление Японии в ряды стран с наивысшим уровнем жизни населения. Канада, скандинавские страны, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия и Швейцария смогли, хотя и в меньшей степени, либо в силу разума, либо благодаря счастливой случайности, затрачивать достаточно средств на улучшение и продление жизни. Большинство же промышленных цивилизованных стран разоряют себя военными бюджетами. Несмотря на свое относительное богатство — средний доход 2.300 долларов в год на человека, — они отказываются залечивать разъедающие их язвы, тратя на военное снаряжение средства, которые помогли бы им справиться с внутренними проблемами и выполнить обязательства перед слаборазвитыми странами. Государства с растущим уровнем жизни, в которых обитает всего треть мирового населения, считают недостаточным, что на их долю приходится 90% всех средств, предназначенных на будущие убийства. За двухлетний период (1965-1966) они даже увеличили свои военные расходы на 35% для стран НАТО и на 29% для стран Варшавского договора. Очевидно, человечество, уже располагающее таким количеством атомных бомб,

которого достаточно, чтобы уничтожить все живое на земле сотни раз, намерено истратить еще 4.000 миллиардов долларов на оружие в течение 1970-1980 годов. Эти средства равны всем затратам мира между 1900 и 1970 годами с хорошо известными последствиями; иначе говоря, эквивалент стоимости валового продукта *мирового* производства за два года.[5]

Только революция в высокоразвитых странах, к тому же являющихся военными державами, может положить конец этому политическому безумию. Или, говоря точнее и уходя от ценностных суждений, революция становится неизбежной потому, что растет число жизненно важных проблем, которые оказываются неразрешимыми из-за бесцельного растрачивания средств. Эта революция может произойти (но еще не значит, что она обязательно должна победить) только в тех странах, где правительство не решилось или не имело возможности полностью ликвидировать свободу.

[5] Подсчитано на базе валового продукта мирового производства в 1965 г. и стоимости доллара в этом же году. См. по этому поводу книгу Кана и Винера «Год 2.000-й». Так как цена человеческой жизни ни на кого не производит впечатления, я ограничусь этой сноской. Установлено, что за последние десять лет 700 тыс. человек погибли в ходе «культурной революции» в Китае, 500 тыс. — во время резни в Индонезии, 250 тыс. — во время войны Нигерии и Биафры. Во Вьетнаме погибло 42 тыс. американцев, 110 тыс. южновьетнамцев и 650 тыс. северовьетнамцев. К этим цифрам следует добавить число погибших во время войны в Алжире (1960-62) и во время ближневосточных конфликтов. В целом число людей, погибших в годы «мира», равно числу погибших в Первой мировой войне. В начале 1970 года четверть всех суверенных государств мира участвовала либо во внутренних, либо во внешних войнах Данные приводятся Дж. Кемпом (Массачусетский технологический институт) в «Нью-Йорк таймс», 1 июня 1970.

9. ОТ СВОБОДЫ К СОЦИАЛИЗМУ: ДОРОГА С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Исто́рия свидетельствует, что капиталистические демократии могут прийти к социализму значительно быстрее, чем социалистические режимы к демократии. Иными словами, переход от политической демократии к экономической возможен, но развитие на пути от теоретической и номинальной экономической демократии к политической невозможно. Более того, отсутствие политической демократии разрушает условия, необходимые для существования экономической демократии. Это можно выразить и иначе: Вторая всемирная революция может произойти только в тех странах, где Первая всемирная революция превратилась в реальность.

Это утверждение часто служит контраргументом против предрассудков послесталинской эпохи, в соответствии с которыми так называемая «формальная» свобода, как считают, не имеет революционной пользы. Если такого рода свободы не имеют большой ценности, то удивительно, почему правительства так их боятся и почему столь распространены полицейские режимы и цензура? Не все граждане пользуются в равной степени законными свободами, и это — основание для борьбы за всеобщее равенство, но не для борьбы за полное исчезновение этих свобод. Свобода,

даже такая несовершенная, какой она может быть, тем не менее является незаменимым оплотом любого революционного действия. Опыт доказывает, что при тоталитарном режиме внутренняя революция невозможна и что такой режим падет только в результате военной катастрофы во внешней войне. Люди, заявляющие, что они бы хотели «сильное» правительство, чтобы иметь достойного противника для доказательства своего революционного пыла, напоминают штангиста, который не может поднять пять килограммов, а заказывает вес в сто килограммов. Самое поразительное в людях, утверждающих, что презирают формальные свободы, это то, что они первые их требуют, когда испытывают малейшую несправедливость. И они первыми же возмущаются, когда, скажем, закрывают газету или когда происходит малейшее нарушение судебной или избирательной процедуры. Я не хочу сказать, что они неправы в этом. Но необходимо ясно понять, что нельзя в одно и то же время протестовать, когда жертвы франкистского режима, греческих полковников или московских судов лишаются прав, законных для судов Англии, и обличать демократию английского типа как устарелый развращающий либерализм.

Критика «либерализма», по всей видимости, возникает из смешения экономического либерализма с политической демократией. Такая путаница свидетельствует о склеротических явлениях в политических артериях общества и ведет к выбору позиции не на основе реальности, а на основе парадокса: либерализм против революции, реформизм против социализма, интеллект против разума, демократия против выборов и прочие метафизические красоты, более модные в салонах, чем в тюремных камерах.

На самом деле выбор никогда не происходил между такими абстрактными понятиями, а исторический процесс никогда не протекал в таких абстрактных рамках. Если справедливо утверждение, что результаты Первой всемирной революции недостаточны, то Вторая

всемирная революция должна их дополнить, а не уничтожить. Свобода — это не роскошь средней буржуазии, как ее характеризуют лжеученики Маркса и искренние последователи Маркузе; она есть или должна быть кислородом социалистической цивилизации. Утверждать, будто «рабочий презирает свободу, которая позволяет интеллектуалу писать что угодно в своем дневнике, и хочет прежде всего консолидации революционных завоеваний», — эмпирически ложно, потому что экономическое освобождение не может наступить без свободной критики. И «революционные завоевания» были уничтожены не внешним врагом, а изнутри, в результате отсутствия демократии. Все критические самиздатовские рукописи, поступившие из СССР и касающиеся этой проблемы, свидетельствуют о том, что отсутствие демократии обусловило *на практике* провал социализма (абстрагируемся в данном случае от всех моральных соображений). Эти рукописи ставят перед специалистами вопрос: не уступает ли социалистическая экономика в силу своей природы капиталистической? Здесь также спекуляции относительно природных достоинств обеих систем являются чисто метафизическими; это значит, что мы ничего не можем сказать по этому поводу, поскольку нет ни одного примера существования подлинно социалистической экономики. И если есть провалы, то это потому, что никакая экономика не может функционировать под руководством олигархии, которая принимает все решения и которая болезненно реагирует на все попытки участия в этом процессе заинтересованных сторон. Иначе говоря, если советская система — провал, с чем все более или менее согласны, то этот провал обусловлен причинами политическими.

Капиталистическая система тоже оказывается под угрозой, когда ее руководители рядятся в тогу авторитаризма и втайне принимают решения в тусклом свете собственной некомпетентности. И в такой ситуации

капитализм тоже движется к диктатуре. Никакая экономика не может уцелеть в век техники, если она постоянно не обновляется коллективным интеллектом граждан той или иной страны. «Среди представителей всех профессий наблюдается общее снижение творческого потенциала», — таков приговор академика А. Д. Сахарова, историка Р. А. Медведева и математика В. Турчина, сформулированный в их письме на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного в 1970 году. Они неоднократно подчеркивают «тесную связь между проблемой научно-технического и экономического прогресса и проблемой свободы информации», осуждая тот факт, что «бюрократизм, административная замкнутость, рутинное отношение к работе и отсутствие инициативы (короче говоря, классические симптомы упадка в любой экономике) становятся все более распространенными в научных и технических организациях».

Научно-технический прогресс порожден правом свободного исследования, правом свободной критики — правами, которые требовала либеральная революция. Общество не может стать социалистическим без развития научно-технического прогресса, поэтому социалистическим общество не может стать и без свободы в области культуры. Связь между этими двумя элементами не случайна, а обязательна. Социализм невозможен без научно-технического прогресса, потому что он не может существовать в бедности. Бедность автоматически вызывает возрождение неравенства. Единственно возможная форма социализма — это «научный социализм», но не в том смысле, в каком Маркс и Энгельс понимали это выражение, а в том, что общество, где развивается научная деятельность, может стать социалистическим обществом. В Советском Союзе наука главным образом занимается военными разработками и задачами, которые имеют скорее престижное значение, чем практическое; другими словами, советская наука руководствуется политическими и националистическими устрем-

лениями. Это также верно, хотя и в меньшей степени, в отношении капиталистических стран. Положение особенно прискорбно в Советском Союзе из-за сравнительно низкого жизненного уровня страны, а также в связи со значительными расходами на военные и политические цели, отчего население лишено даже самого необходимого. Наиболее распространенная жалоба советских ученых заключается в том, что фундаментальным исследованиям мешают доктринерские императивы диалектического материализма: яркий пример — дело Лысенко. Такое положение особенно сказывается в биологии, так как эта наука больше связана с идеологией, чем физика; оно вызывает почти полный паралич экономики, социологии, истории и психологии. Поэтому Вторая всемирная революция в значительной мере, а может, даже в основном, будет состоять в создании интеллектуальной и информационной автономии от политической власти. В этом аспекте, как и во многих других, демократия — матрица социализма.

Когда Андрей Амальрик («Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?») пытается объяснить состояние советского общества, он, как и Сахаров, чуть ли не вынужден возвратиться к анализу Токвилля — демократия как образ жизни. Существует *homo democraticus*, созданный цивилизацией одновременно с созданием демократических институтов. Без *homo democraticus* эти институты бесполезны, как бесполезен холодильник, который мы часто видим у крестьян, использующих его в качестве обычного шкафа, существующего больше для красоты и ни разу не подключенного к электрической сети. «Русскому народу... почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы — и связанной с этим ответственности, — пишет Амальрик. — Само слово „свобода“ понимается большинством народа как синоним слова „беспорядок“». Если сорок с лишним стра-

ниц книги Амальрика будут читать еще долгое время, то это потому, что они служат полным отрицанием и противоположностью «Государя»[1] и показывают, что политические взгляды не зависят от власти и государства. Экономист-марксист Варга хорошо понимал связь между социальной каталепсией и подавлением коллективного разума. В своем обвинении в адрес советского руководства (опубликованном посмертно)[2] он пишет, что официальная идеологическая пропаганда «зачастую вызывает у многих граждан безразличие к идеологическому обесцениванию, скептицизм и даже цинизм». Амальрик убедительно подкрепляет это утверждение собственным опытом в области советской морали и описанием — нарочито нейтральным, почти безразличным, как школьное сочинение — огромной бесплодной массы народа и государства, которые, как двое слепых, таращат друг на друга глаза, словно они обладают зрением. Эта неспособность правителей и народа изменить свою позицию еще раз показывает важную и совершенно не случайную связь между политической диктатурой и реакцией общества. Когда Амальрика арестовали в Москве в 1970 году, это было не «случайно», а «закономерно», и он, таким образом, предсказал свою судьбу с такой же точностью, с какой астроном предсказывает появление кометы.

[1] «Государь» — произведение Макиавелли, в котором автор нарисовал свой идеал «нового государя», оправдывая любые методы его борьбы за установление сильной власти, вплоть до подкупов, предательств и убийств

[2] «Завещание академика Варги», Париж, 1970. Варга был народным комиссаром финансов Венгерской Советской республики в 1919 г. После свержения коммунистического режима Бела Куна в Венгрии Варга был вызван в Москву Лениным, где прожил до своей смерти в 1964 году. Он сохранил связи с правителями России, и его избрание в Академию наук СССР в 1939 году свидетельствует о том, что в то время он не принадлежал ни к какой оппозиции. «Завещание» Варги обнаруживает, однако, признаки его несогласия с политикой, которую он открыто поддерживал.

Ошибочно считать, что коммунистические страны постепенно будут приобщаться к демократии по мере консолидации базы социализма. Дело в том, что чем дольше длится диктатура, тем менее надежна ее база, а чем она менее надежна, тем нужнее диктатура. Конечно, при Хрущеве проявился некоторый либерализм, но он был таким куцым, что либерализмом его можно назвать лишь с большой натяжкой. При Хрущеве было подавлено восстание в Венгрии и казнен Имре Надь, Бориса Пастернака заставили отказаться от Нобелевской премии, были осуждены эксперименты в живописи (самим Хрущевым) и подписана дюжина смертных приговоров евреям, обвиненным в «паразитизме» и «разложении». При хрущевском либерализме число политзаключенных и исправительно-трудовых лагерей оставалось таким же, как и при Сталине. Нам, конечно, напомнят, что при Хрущеве советские интеллектуалы, вроде Александра Солженицына, пользовались некоторой свободой. Это верно лишь отчасти. Фактически же ни одно произведение Солженицына так и не было напечатано в Советском Союзе массовым тиражом; максимальной «свободой», допущенной для этого писателя, явилась публикация «Одного дня Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир». Ради сравнения я вполне согласен допустить, что при Хрущеве в СССР было больше свободы, чем при Сталине; но вряд ли ее было достаточно, чтобы говорить о «свободе периода Хрущева». Тем более, что какой бы эта свобода при Хрущеве ни была, ее быстро ликвидировали его преемники. Концепция «либерализации» может возникнуть только в обществе, уже знакомом с чередующимися периодами свободы и диктатуры, с режимами, основанными на законности, и с режимами, основанными на насилии. По западноевропейской традиции народ, живший под властью деспотического режима, сохранял зачатки демократического общества. Иногда у таких народов не было собственного опыта, но они кое-что знали из истории Греции и Рима, сведенной к пе-

речню битв между деспотизмом и свободой. Поэтому каждый период деспотизма, от Цезаря до нацизма, ощущался как *утрата* предшествовавшей свободы. С этим ощущением всегда связывались вера в конечное освобождение и подсознательно сохранявшийся образ предыдущего либерального режима — даже если это был скромный режим вольного города или провинциального парламента. Способность верить в конечное свержение греческих полковников, Франко, Петэна или Муссолини предполагает наличие большой группы граждан, на которых оказало влияние общество другого типа и которые имеют ясное представление о том, чем они хотят заменить существующую форму правительства. Если продолжить такого рода рассуждение, то может появиться искушение поверить, что в каждом авторитарном обществе существует множество людей, понимающих, что общество авторитарно, а также правителей, готовых предоставить свободу выражать свое мнение — но только после того, например, как цена на мясо достигнет достаточно низкого уровня или определенное военно-дипломатическое наступление будет успешно завершено. Верить в такое — значит забывать, что в этих обществах только у власть имущих имеется исторический и теоретический опыт критики, а у простых людей нет никаких психологических резервов, являющихся первоосновой процесса либерализации. Этими психологическими ресурсами, впрочем, обладают правители обществ; диктатура существует для подавления всего того, что для них неприемлемо. В таких случаях правители вполне могут допускать, чтобы люди свободно высказывались по вопросам, не имеющим политического значения, до тех пор, пока эта свобода не угрожает их собственной власти. Так обстояло дело в «либеральной империи» Наполеона III, где правительство сугубо эмпирически использовало цензуру. На другом полюсе находятся такие деятели, как Людовик Четырнадцатый, Брежнев, Мао, взгляды которых представляются явно метафизи-

ческими. Подавление религиозной свободы королем Людовиком Четырнадцатым (путем отмены Нантского эдикта) и запрещение Брежневым абстрактного искусства не имеют никакого отношения к политике. Их целью было сохранить представление о роли правителя.

Абсолютно иллюзорно представление, будто свободу можно добавить к социальной системе, как мадеру в соус, в последнюю минуту. Для двадцатилетнего китайца понятие «либерализация» может не иметь никакого смысла, разве что оно адекватно понятию «ревизионизм», означающему, в его представлении, любую оппозицию. Когда китайская молодежь слышит термин «культурная революция» (термин Сталина, подхваченный Мао), он означает для нее только одно: уничтожение всякой оппозиции, ликвидация всякой критики. Вовсе не эстетические или моральные соображения делают такую систему плохой, а чисто практические: такого рода общество неминуемо должно пасть уже хотя бы потому, что как модель оно будет отвергнуто всеми, кто знает какой-либо иной порядок вещей. Разница между авторитарным и демократическим правительствами в том, что при правительстве авторитарном только факты «пользуются» свободой слова, люди же должны ждать, пока эти факты «заговорят», то есть они должны ждать катастрофы, прежде чем получить возможность спросить, куда их ведут. При демократическом правительстве люди могут предвидеть катастрофу и, если нужно, избрать другие средства или другую цель. Недостаток катастрофы, как сигнала к перемене направления, заключается в том, что она приходит слишком поздно. Есть более безопасные указатели. Прежде всего следует знать, что́ такое «порог восприятия» катастрофы в обществе; нужно знать сигналы опасности и способы, которыми эти сигналы можно превратить в общественные действия. Существовали люди, начисто лишенные как бы «порога восприятия» (например, древние галлы), за́ что они поплатились полным своим уничтожением. Однако

во многих обществах прошлого последствия катастроф ощущались не правительством (в форме политической перемены), а народом, условия жизни которого ухудшались. И наиболее ощутимый результат Первой всемирной революции — изменение этого порядка вещей.

Общества, не пережившие Первой всемирной революции, обнаружили невозможность перехода к политической демократии от своих контролируемых государством хозяйств, — хозяйств, которые, как предполагается, являются своего рода преддверием социализма. С другой стороны, трудно оспаривать тот факт, что общества, затронутые Первой всемирной революцией, продемонстрировали тенденцию к эволюции от политического либерализма к экономическому социализму. (Чтобы согласиться с этим утверждением, мы должны принять в качестве определения «социалистический» тот процесс, путем которого усиливаются права трудящихся и снижается произвольная власть капитала.) История рабочего движения слишком хорошо известна, чтобы ее здесь повторять, но мне хотелось бы напомнить один важный факт: наиболее старая форма профсоюзного движения — это английский тред-юнионизм. Это значит, что современные методы завоевания и отстаивания прав трудящихся были впервые выработаны и применены в стране, откуда берет свое начало политический либерализм. Существовала связь между революцией избирательной системы (Билль о реформе 1832 года) и созданием профессионального союза Роберта Оуэна в 1833 году, этого первого кооператива рабочих в истории. Была взаимосвязь и между профсоюзным конгрессом 1868 года и образованием и ростом лейбористской партии в последующие годы. Даже сегодня английские профсоюзы — одни из самых сильных в мире, и Англия — одна из немногих стран Европы, где всеобщая забастовка не является незаконной. Британские профсоюзы не считали себя контрреволюционными, когда они образовали поли-

тическую партию, чтобы добиться власти и работать в рамках парламентарной системы. Поэтому большинство социальных завоеваний современного рабочего движения было осуществлено в Англии раньше, чем в любой другой стране, причем обычно эти завоевания осуществлялись полнее, чем где-либо.

Этот последний факт служит достаточным указанием на то, что политическая свобода является действенным орудием в борьбе за экономическое равенство. Если нужны дальнейшие доказательства, то вот они: эволюция либеральных обществ в период 1815-1970 годов вела, несмотря на ряд неудач, к постепенному уменьшению неравенства и к усилению прав трудящихся. Если взять любую страну с парламентарной демократией на протяжении большей части этого периода и если сравнить положение в 1850 году с положением в 1950 году или 1900 год с 1970 годом, то трудно поверить, что речь идет об одной и той же стране. Кажется, что нет и малейшего сходства между правами рабочих в начале данного периода и в конце его. Так же обстоит дело с правами женщин, детей и служащих.

Хорошо известно, что политическая демократия ведет к экономической демократии и что тоталитарные режимы считают необходимым подавлять первую, чтобы предотвратить последнюю. Стратегия таких государств, как мы знаем, — привлечь на свою сторону рабочих патернализмом и популизмом, борьбой против буржуазного «разложения» и в то же самое время лишить трудящихся прав на объединение в профсоюзы, на собрания, на забастовки, на протесты, на голосование. Совершенно неверно утверждать, как это делают левые и радикалы сегодня, что либерализм и фашизм идентичны; это неверно даже для «репрессивного» либерализма, в том смысле, какой Маркузе вкладывает в это понятие. По мнению интеллектуалов, провозглашающих этот политически безответственный тезис, либеральный капитализм даже еще более опасен,

чем фашизм, потому что он имеет *видимость* демократии. Здесь достаточно отметить, что в тех странах, которые знали настоящий фашизм, у этого тезиса не находится сторонников. Например, итальянские рабочие слишком хорошо знают, что забастовка во времена Муссолини была совсем не похожа на забастовку во времена де Гаспери.

Революция состоит в преобразовании действительности. Подлинные контрреволюционеры — это своего рода революционеры-пуристы, которые отрицают всякие перемены под предлогом, что они неполны и происходят «внутри системы». При таких условиях вообще никогда не произошло бы никаких общественных перемен. Когда Нерон ввел закон, дававший рабам право протестовать против притеснений со стороны их владельцев, то римляне, следует из этого рассуждения, должны были его отвергнуть, так как он исходил из факта существования рабства, а также потому, что он возник «внутри системы». И сегодня, если следовать этому рассуждению, мы должны были бы отказаться от системы участия в прибылях, поскольку она дает рабочему известную степень контроля над реальными доходами и над управлением экономикой и поскольку такое участие осуществляется «внутри системы». А то, что участие в прибылях может быть фактором изменения всей системы, никогда и на ум не приходит этим платоническим революционерам. Они слишком привыкли мыслить чистыми формами и отдельными сущностями, в которых все раскладывается по полочкам. И хуже всего то, что они поступают так во имя истории и диалектики. Один умный человек однажды сказал: «Существует неграмотность, которая предшествует учебе, но есть и другой род невежества, который мы можем назвать научным. Этот вид невежества приходит после учебы; наука создает его точно так же, как она уничтожает неграмотность».[3]

[3] Монтень, «Эссе», I, 54.

В Первой всемирной революции уже были намечены контуры Второй всемирной революции; Первая революция, кроме того, — единственное средство, позволяющее осуществить Вторую, которая придаст ей новое содержание. Цели Второй революции вызревали в политическом климате, созданном Первой революцией: установление экономического и социального равенства при свободе культуры и свободе личности; гарантия безопасности путем всеобщего участия в принятии решений. Достижения Первой революции составляют основу Второй, ибо для того, чтобы создать мозг, прежде всего нужна нервная клетка.

10. НАСИЛИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ

Свободу нельзя рассматривать только как отношения между личностью и правителями. С такой точки зрения свобода — абстракция, и притом абстракция, ставшая объектом академической критики либерализма. Отношения между правителями и управляемыми — только структура для чего-то гораздо большего, для комплекса элементов, среди которых, прежде всего, — участие коллективного разума народа в управлении обществом. Может быть, в этом и заключался секрет «успеха» стран, где происходила Первая всемирная революция; потому что эти страны дали возможность своим правительствам почувствовать, так или иначе, влияние творческой инициативы большого числа граждан, которая была использована правительствами в управлении и регулировании общественных отношений. Поэтому говорить о свободе только применительно к «гарантиям» между народом и его правительством — то же самое, что описывать крупную лабораторию применительно к ее профсоюзам и пенсионным фондам. Конечно, профсоюзы и дополнительные доходы важны для работников лаборатории с точки зрения утверждения их прав. Но в обществах сегодняшнего дня каждый гражданин все больше и больше играет роль исследователя — искателя правды; множество людей страдает от того, что их «никто не слушает».

Именно потому, что их «никто не слушает», считают они, им недостаточно платят. Общество, где «никто не слушает», является олигархическим, и оно обречено на гибель, потому что. по статистике, у четырех или пяти человек может быть меньше новых идей, чем у ста миллионов человек. Когда гражданин не имеет возможности критиковать никчемный политический или экономический режим без риска попасть в тюрьму, тогда все общество оказывается в опасности, и не только потому, что один из его членов стал объектом «нетерпимого нарушения прав личности», но и потому, что, возможно, была утрачена навсегда действенная практическая альтернатива. Совершенно очевидно, что революция должна включать социализацию инициативы и творческого воображения.

Свобода может быть определена прежде всего как революционная продуктивность. И именно поэтому цензура — сокрытие государством информации — несовместима с революцией. Без коллективного разума народа не может быть новых решений. Мы часто склонны забывать, что революция связана с созданием новых моделей культуры и цивилизации, которые выше современных моделей. Следует напомнить, что Первая всемирная революция не ограничилась распределением земли среди крестьян.

Если представить себе свободу как абстрактное качество, то мы придем к равно абстрактной концепции насилия; потому что свобода и насилие могут определяться только по отношению друг к другу. Там, где, например, забастовки легальны, бастовать — значит использовать оружие из арсенала прав и свобод. Но там, где забастовки незаконны, бастовать — значит прибегать к насилию. История восстаний, беспорядков, гражданских войн учит нас, что некоторые фундаментальные преобразования были осуществлены ненасильственным путем, либо с минимальным насилием — например, в Англии, — и что некоторые крайне насильственные мероприятия не повлекли за собой существенных изменений. Сущест-

вуют революции типа комических опер, в которых гибнет много людей; но бывают подлинные революции и без кровопролития.

Мы часто слышим вопрос: «Может ли быть революция без насилия?». На эту тему всегда было много дискуссий, но никогда не находилось удовлетворительного ответа. Однако, когда начинают обсуждать вопрос о революции и насилии, дело всегда сводится к старому избитому аргументу. Никто, кажется, не намерен принимать во внимание накопленный опыт, имеющуюся документацию и интерпретацию достигнутых результатов. Одна из наиболее поразительных черт сегодняшней Европы состоит в том, что неограниченный доступ к документации, легкость, с которой можно получить классические работы и проводить исторические исследования, не привели нас к необходимому выводу из опыта и противоречий прошлого. Накопление знаний, вместо того, чтобы экономить нам время, привело к подлинной спячке, к приступу монтеневского «научного невежества», к фатальной тенденции всегда начинать сначала или, что еще хуже, не идти дальше этого начала. В то же время некоторые стереотипы прошлого, полуправды, лишенные контекста, все еще тяготеют над нами: Парижская Коммуна 1870 года, русская революция 1917 года, китайская революционная война. И, конечно, это все, что нужно для полного паралича нашего воображения. Мы, таким образом, не учимся на примерах прошлого, мы подражаем им.[1]

Наша наиболее часто повторяющаяся ошибка заключается в смешении целей со средствами. Это наблюдали и Макиавелли и Монтень. Мы тоже приходим к такому же заключению, хотя зачастую и другими путями. Прежде всего, относительно насилия следует отметить, что само по себе оно ни революционно, ни

[1] См. книги Макса Галло «Гошизм, реформизм и революция», Париж, 1968, и «Гробница Коммуны», Париж, 1971.

контрреволюционно. Исторически насилие чаще служило контрреволюции, чем революции. Оно больше служило для подавления, чем для освобождения. Все три крайне правых государства нашего времени — Италия при Муссолини, гитлеровская Германия и франкистская Испания — начинались с насилия. Франко пришел к власти путем вооруженного мятежа против законного правительства. Гитлер и Муссолини использовали террор вооруженных бандитов, хотя и пришли к власти благодаря скорее букве, чем духу законов, и благодаря народной поддержке. А слева — сталинистская «революция наизнанку» удерживается у власти с помощью насилия. В истории значительно больше примеров успеха репрессивного насилия, чем революционного. Поэтому следует быть очень осторожным, рекомендуя незаконные средства борьбы с установленной властью: такая власть сама имеет тенденцию использовать незаконные средства для устранения своих противников. Да и вообще говоря, власть для этого находится в более выгодном положении.

У насилия не больше революционного или контрреволюционного содержания, чем, скажем, в скальпеле — содержания медицинского. Верить, что использование насилия как попало продвинет дело революции, все равно, что верить в волшебное исцеление от применения скальпеля вслепую. Подлинно революционная деятельность состоит в преобразовании действительности, в приближении ее к соответствию с идеалами, с точкой зрения революционера. Такое преобразование может быть достигнуто только революционными средствами. Иногда — это насилие, иногда — нет. Напечатать антиправительственное заявление считается в некоторых странах актом бунтарства или насилия, тогда как в других странах — это обычное и вполне законное действие. Забастовка французских и итальянских таможенников в 1970 году считалась актом насилия, хотя она проводилась в полном соответствии с таможенными правилами. Ее результаты были более «насильствен-

ными », чем они могли бы быть, если бы эти самые таможенники взорвали поезд или совершили вооруженное нападение на Елисейский дворец. Результатом забастовки был полный паралич международного транспорта на французской границе, большие денежные потери для французской экономики и для других стран, чье хозяйство частично зависит от торговли с Францией. Нанеся чувствительный удар французским властям, таможенники смогли добиться значительно более удовлетворительного для них ответа на свои требования, чем если бы они просто побили стекла в государственных учреждениях. Они добились и большего: им удалось привлечь внимание к абсурдности таможенных барьеров в Европе; тем самым они придали новый импульс движению к европейскому единству с наднациональной властью, что лично мне представляется одной из задач революции.

В этом смысле легко увидеть, что насилие — совсем не обязательно синоним незаконности. Можно даже сказать, что чем больше законности в обществе (то есть, чем больше общество ощущает результаты Первой революции), тем больше насилие должно быть рассчитанным и направленным на значительные цели. Насилие наиболее эффективно, когда оно используется в рамках существующего юридического положения, потому что тогда оно может добиться наибольших уступок, подвергая себя лишь минимальным открытым нападкам. Наилучший пример этому — деятельность Мартина Лютера Кинга в Соединенных Штатах; его « ненасилие » фактически было одной из форм насилия. Бойкот транспортной системы всего города — действие более насильственное, чем избиение полицейского на площади Согласия. Существуют ненасильственные действия, которые на самом деле более насильственны, чем самая изощренная жестокость, а политическое насилие не всегда сводится только к удару кулака или винтовочному выстрелу. В том случае, если дело не удается и враг побеждает, рамки законности могут служить

средством стратегического отступления, которое предохранит восставших от уничтожения. Революционеры всегда должны предпочитать стратегию трагедии. Но если этот принцип применяется, то революционные лидеры должны быть не актерами, а беспристрастными представителями, проявляющими больше забот об интересах своих последователей, чем о собственном благополучии.

Мартин Лютер Кинг был прототипом такого лидера, прототипом вдохновенного героя, чей авторитет явился следствием народной поддержки и собственной чуткости к нуждам и потребностям его народа. Он был героем в самом достойном смысле этого слова. Он никогда не был демагогом, всегда был близок неграм, чьи страдания он всегда мог понять и чью энергию — правильно использовать. И чем известнее он становился, тем выше была его скромность. Кинг категорически был против всякого «культа личности», отвергал любую тенденцию к авторитаризму в движении, которым он руководил. Другими словами, он вел интенсивную политическую жизнь и никогда не помышлял о политической карьере.

При всем этом Кинг был человеком действия. Жюри, присудившее ему Нобелевскую премию мира в 1964 году, наградило его не только за добрые намерения. За десять предшествующих лет Кинг добился введения или усиления законодательства, имевшего первостепенное значение для негритянского населения Америки. Но он не ограничивался лишь осуществлением этих моральных перемен, необходимых для революции. Он проявил тактическое мастерство в организации тех демонстраций, которые явились вехами расового прогресса Америки, от бойкота автобусов в Монтгомери в 1955 году до марша на Вашингтон в 1957 году и демонстрации в Чикаго в 1966 году.

Человек, который убил Мартина Лютера Кинга (или те, кто его нанял) в Мемфисе в апреле 1968 года, убил не просто великого оратора и уничтожил не только

душу антирасистского движения, он уничтожил политическую концепцию. Эта концепция основывалась на многостороннем анализе положения. Кинг верил, что черные, если они хотят добиться интегрирования и равенства, не должны начинать с разрушения тех самых существующих институтов и с нарушения тех самых конституционных принципов, применения и защиты которых они сами требовали. Вместо этого, он предлагал постоянно ставить перед белыми дилемму, оставлявшую им единственный выбор: либо признание расового равенства, либо поощрение беззакония.

Тактика Кинга варьировалась в зависимости от обстановки изо дня в день. Ее суть, однако, оставалась постоянной, она концентрировалась на местном конфликте с воинствующим расизмом некоторых районов Юга. Она концентрировалась также вокруг церкви Кинга, где зачастую его воскресные проповеди превращались в политические выступления. Когда Кинга узнала вся страна, он стал умышленно сталкивать Федеральное правительство и Верховный суд США с губернаторами отдельных штатов и с мэрами отдельных городов. Типично американский парадокс заключался в том, что именно ФБР охраняло Кинга от местной полиции; возникали ситуации, которые с точки зрения европейцев совершенно невероятны. Однажды, например, президент Джон Кеннеди позвонил Кингу в тюрьму в Бирмингеме, а затем позвонил его жене и передал ей новости о муже.

Интерес Кеннеди к Кингу и его работе не был абстрактным. В 1963 году президент подготовил, при содействии Кинга, новый избирательный закон — закон, принятый в 1964 году и подписанный президентом Линдоном Джонсоном. В соответствии с его положениями черные, желающие принять участие в голосовании, могут регистрироваться у представителей федеральных властей и таким образом избегать обструкцию местных или штатных властей. Это достижение вызвало контратаку расистов и довело положение до кризиса;

тогда федеральные власти оказались вынужденными вмешаться и послать войска на Юг для подтверждения тех решений, которые они прежде не хотели осуществлять. Таким образом, для Кинга ненасилие не было равнозначно бездействию.

Такой была борьба за права негритянского населения начиная с 1954 года, с решения Верховного суда по делу Брауна против Топекского совета по образованию, которое провозгласило неконституционным сохранение раздельного обучения в школах белых и черных. Сегодня в американских университетах 434 тысячи черных студентов — при численности всего негритянского населения в 22 миллиона человек, — пропорция выше, чем процент французских студентов относительно 50 миллионов жителей страны. Но такого рода успех предполагает два условия: необходимо подлинное уважение к конституции и свобода средств информации. Все демонстрации и все марши протеста не дали бы многого, если бы телевидение не донесло их практически до каждого дома Америки. Вот пример силы средств массовой информации: однажды доктор Кинг был приговорен к незначительному штрафу, который он отказался платить, предпочитая отправиться в тюрьму. Тогда судья, вынесший решение, уплатил штраф из собственного кармана, зная, что телеоператоры ждут у дверей суда, чтобы показать всей Америке, как Кинга уводят в тюрьму.

Сегодня целям и методам Мартина Лютера Кинга брошен вызов. Это вызов методам, потому что ненасилие погибло насильственной смертью, поскольку «Власть черных» и «Черные пантеры» уничтожили уважение к конституции (не перестав, однако, привлекать внимание телевизионных компаний) и заменили его подрывной деятельностью. Кинг предвидел эту возможность и предупреждал, что «мятежи — это язык, которого никто не слушает». Цели Кинга также подверглись нападкам, поскольку теперь совершенно нет уверенности в том, что афро-американцы хотят интегра-

ции, причем многие из них требуют «многонационального государства в рамках государственного единства». Достижение экономического и политического равенства при сохранении культурной автономии и при подчеркивании «этнической гордости» и территориальной независимости — все это выходит далеко за пределы задач, которые ставил Кинг. Фактически — это движение в другом направлении. Тем не менее Бобби Сил, лидер «Черных пантер», заявил недавно, что „программа «Пантер» не очень отличается от программы Мартина Лютера Кинга. Мы просто продвинулись к другому тактическому уровню".

Видно будет, закончится ли новый «тактический уровень» «Пантер» победой или отступлением революции черных. Окончательный переход к нелегальным действиям имеет смысл только тогда, когда есть достаточно реальных шансов прийти к власти; иначе это ведет к уничтожению мятежников. Но возможность захвата власти уменьшается пропорционально усложненности общества и существующей политической структуры. И, попросту говоря, чем рудиментарнее государство, тем выше шансы насилия на его уничтожение, но тем меньше революционная ценность насилия. Между 1946 и 1964 годом в мире произошло примерно 380 государственных переворотов. И они происходят все чаще: с 1964 года происходило от 25 до 30 государственных переворотов в год, но обычно это военные перевороты, имеющие сомнительную революционную ценность, хотя именно ее наиболее рьяно подчеркивают организаторы таких переворотов.

Если проанализировать эффективность такой формы насилия, как политическое убийство, то и здесь обнаруживаются ничтожные результаты. Например, убийство президента Кеннеди не привело к изменениям ни в американском обществе, ни в его политических институтах, потому что американская конституционная система достаточно спаяна, чтобы противостоять таким событиям. В высокоразвитом

полицейском государстве, как например, Советский Союз, насилие мятежников не имело бы шансов свергнуть режим. В демократических же государствах (таких, как Великобритания) это также невозможно, но по другим причинам. В Советском Союзе восстание невозможно технически, во всяком случае в предвидимом будущем. Чтобы оно оказалось успешным, необходимо состояние значительно большей экономической дезинтеграции, чем существующее сегодня, и переориентация военных руководителей. В демократическом государстве восстание не сможет получить поддержки большинства народа, потому что есть множество других путей, которыми народ может добиться желаемых изменений, а также из-за различий между социальными подгруппами, существующими в сложных общественных системах.

Правда, насилие легче использовать в демократических обществах, чем где бы то ни было; но правда и то, что насилие в демократическом обществе утрачивает значительную часть своего революционного импульса. Когда закон предусматривает и разрешает наличие различных сил оппозиции, тогда политическая польза от насилия чрезвычайно мала. Наибольшая польза достигается применением в максимальной мере легальных средств в сочетании с разумным использованием насилия; иначе говоря, насилие должно прекращаться до того, как вызываемая им реакция становится сильнее, чем его воздействие. В демократических обществах очень трудно установить необходимую пропорцию легальных и насильственных действий, но именно в демократических обществах, если такая пропорция найдена, результаты имеют наибольшую вероятность стать постоянными. Это не значит, что революционные перемены могут быть осуществлены только парламентскими средствами в широком смысле этого понятия, иначе говоря — путем переговоров и соглашений, когда есть победитель и побежденный. Эта идиллическая концепция — слишком легкая мишень для

критиков «реформизма» и «либерализма», если под этим мы понимаем, что люди должны терпеливо ждать, пока привилегированный класс откажется от своих привилегий. Эта концепция так же неуклюжа, как и ее антитезис — уничтожение капитализма одним ударом. Капитализм нигде не был уничтожен одним ударом, за исключением стран, в которых он никогда не существовал.

Существование общественных классов основано на противоречии интересов; эти противоречия еще никогда не разрешались исключительно с помощью взаимопонимания и доброй воли. Поэтому отношения между общественными классами — это отношения насилия, обусловленные противоречиями, — либо фактически, либо потенциально. Насилием пользуются как власть имущие против людей, им подвластных, так и подвластные в своей борьбе против власть имущих. Однако отсюда не следует, что угнетенные классы, добившись частичной победы, фактически смиряются с *принципом* угнетения. Если бы это было так, то до сих пор существовало бы рабство. И эта ошибка допускается по обе стороны политического барьера между классами. Крайне правые и ультраконсерваторы считают, что любые уступки вызовут немедленное крушение режима. С другой стороны, для левых нет разницы между Леоном Блюмом и нацистами; с точки зрения «национальной революции» Морраса между Блюмом и Троцким тоже нет разницы. Для нацистов Рузвельт был коммунистом, а для коммунистов Рузвельт был улыбающимся Гитлером.

Было бы также неверно утверждать, что терроризм, мятежи и партизанские войны — единственно возможные формы насилия. Во многих случаях эти частные формы дают больше отрицательных, чем положительных результатов. Справедливо то, что угнетение не прекратится, пока его не «принудят» к этому. Но формы этого принуждения многочисленны, и они изменяются в зависимости от обстоятельств. Например, во Франции

были национализированы некоторые отрасли промышленности в результате революционного импульса Освобождения, причем класс собственников, скомпрометированный коллаборационизмом, не смел протестовать. В это же самое время аналогичная волна национализаций наблюдалась в Англии после победы лейбористской партии на выборах; национализация прошла гладко, хотя лидер потерпевшей поражение консервативной партии был олицетворением торжествующего патриотизма. Следовательно, в английском общественном мнении произошел сдвиг в пользу этой силы; во Франции же дело обстояло иначе — там правые всегда находили возможность преодолевать силу необходимости или, по крайней мере, нейтрализовать ее воздействие, за исключением случаев (например, в 1936 году), когда этому препятствовал страх.

Сегодня много говорят о новом виде насилия — «городская партизанская война». Во Франции мы слышали ораторов, представляющих движение «Пролетарская левая»; они сравнивают отношение правящего класса Франции к другим классам с отношением нацистов к французам в годы оккупации. Это, безусловно, сверхпессимистическое мнение. Правда заключается в том, что французы значительно лучше уживались с немцами в 1940-1944 годах, чем они уживаются между собой. Тем самым я не собираюсь оправдывать партизанщину. Я только хочу указать теоретикам «Пролетарской левой», что терроризм Сопротивления и маки не был достаточно сильным, чтобы самостоятельно, без помощи иностранных армий изгнать немцев из Франции.

Отношения между угнетателями и угнетенными еще не дошли до точки разрыва, то есть до того момента, когда восстание и его различные формы станут единственно возможным решением. Следовательно, в либеральных обществах есть еще немало путей, с помощью которых сочетание интересов может быть использовано к выгоде угнетенных. (Такого рода ситуации так же

многочисленны, как и степени угнетения, потому что в либеральном обществе никто *полностью* не лишен возможности управлять.) Использование грубой силы само по себе приносит пользу скорее сильному, чем слабому, потому что людей также можно разделить на «сильных» и «слабых» пропорционально тому давлению, которое они могут оказать. Конечно, в обществах, где люди не защищены законом, единственное средство угнетенного — терроризм и вооруженная борьба; но это еще не значит, что терроризм и вооруженная борьба обязательно оказываются успешными даже в этих условиях. Насколько все это опасно, видно из того факта, что полиция всегда обвиняет диссидентов в терроризме и вооруженном насилии — если только диссиденты не одержат победу над полицией и не обвинят ее в том же самом. Действенность революционного метода нельзя оценивать только по степени опротестованной несправедливости, ее нужно оценивать и по достижению искомой цели.

Наконец, революция только частично является достижением воинствующего меньшинства; она есть и должна быть (для того, чтобы ее результаты не пропали даром) отправной точкой для многосторонних изменений на всех общественных уровнях. Легенда о том, что революции совершаются группами заговорщиков, основана на прецеденте русской революции, который ничего не доказывает. Единственный ее смысл в том, что она укрепляет самомнение тех революционеров, которые считают себя специалистами и которые верят, что революция — это монополия с голливудской системой звезд. Эти революционные «лидеры» много болтают о стихийности масс, но они первые и проклинают эту стихийность, если она не соответствует их устремлениям. Они возмущаются, когда массы требуют реформ, ими не санкционированных; они говорят об отчуждении рабочих, когда те выходят за установленные для них этими «революционерами» рамки. Такое введение элиты в контекст революции является одной из

главных причин, почему революционное вдохновение в Европе так истощилось. Оно влечет за собой догматизм, поощряет людей искать рецепты спасения в прошлом и порождает театральную стратегию и не менее театральные провалы. Культура Европы — это подцензурная культура как справа, так и слева. Событие должно повторяться, отрицаться или интерпретироваться до тех пор, пока оно не будет удовлетворять принятой модели. (По странному совпадению генерал де Голль стремился переделать Францию так, чтобы она напоминала Францию времен кардинала Ришелье; и наиболее непримиримые его оппоненты разделяли это стремление с той лишь разницей, что Франция, которую они предлагали, должна была напоминать Францию времен Парижской Коммуны.)

Цель революции, однако, не в удовлетворении желаний докторов права, не в исполнении пророчеств. По сути своей революция означает явление, какого еще до этого не было, событие, совершающееся еще неведомыми в истории путями. Когда мы говорим «революция», следует иметь в виду то, чего нельзя понять или объяснить в рамках старых идей. Суть революции и ее первый успех — способность обновления. Подвижность относительно прошлого, быстрота относительно будущего — вот ее черты. В этом смысле сегодня в Соединенных Штатах больше революционного духа среди правых, чем где-либо среди левых.

11. АНТИАМЕРИКАНИЗМ И АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Антиамериканизм представляет собой один из крупнейших психологических феноменов нашего времени. Более того, это — явление, которое следует учитывать при оценке сочетания фактов и гипотез, позволяющего нам сделать вывод о том, что Америка находится накануне революции и что американская революция, по всей вероятности, принесет с собой перемены, необходимые современному миру.

Причины антиамериканизма трудно объяснить, не описав его симптомы. Эти два фактора неотделимы друг от друга, хотя симптомы и поддаются анализу, тогда как о причинах можно только догадываться. В анализе проявлений антиамериканизма следует различать критику, основанную на точных фактах, оправданную с точки зрения политических задач или суждений и имеющую четко определенную ценность, и критику, основанную на всеохватывающей навязчивой идее и отбрасывающую все рациональные попытки оценок и даже иррациональные, но понятные оценки. Говоря об «иррациональной, но понятной оценке» я имею в виду точку зрения, на которую, несмотря на ее пристрастный и субъективный характер, можно как-то повлиять с помощью фактов. Пристрастная точка зрения может быть, а может и не быть облечена в определенную форму. В первом случае, говорим ли мы об аргументах или о симпатиях и антипатиях, имеются четко разли-

чимые «за» и «против». Во втором случае эти «за» и «против» часто меняются местами, так как они основаны на эмоциях, которые сами по себе очень пластичны, где «за» выворачивается наизнанку, превращаясь в «против», и где единственным постоянным элементом среди этой непоследовательности остается постоянное недовольство.

Позволю себе привести пример. В начале 1970 года я несколько недель провел в Соединенных Штатах. (Это не так долго, но вполне достаточно для того, чтобы успеть позабыть или, по крайней мере, не думать о некоторых абсурдных вопросах, столь известных в Европе). Вернувшись во Францию, я был озадачен некоторыми откликами на мои комментарии об Америке. Например, я указал, что Соединенные Штаты находятся в стадии перемен, что протест и оппозиция против властей и против прошлого представляются там выраженными более ярко, чем в других странах. Вот ответ, который я на это получил: «Убийство Мартина Лютера Кинга и суд над Джеймсом Рэем не оставили никакого сомнения в том, что Америка — фашистская страна».

Для такого рода ответа имеется несколько причин. Прежде всего, тут нет никакой связи с моим утверждением, так как политическое убийство, несправедливый суд далеки от того, чтобы быть несовместимыми с революционной ситуацией, скорее наоборот. Такой ответ является, на мой взгляд, результатом нежелания использовать факты в качестве базы для суждения или даже заставляет сомневаться в возможности существования отдельных фактов. Он также отражает склонность считать некоторые ситуации типично американскими, хотя они менее значительны в Америке, чем в других странах. Более чем странно звучит это обличение всей Америки на основе сомнительного процесса Бен-Барки в стране, где этот процесс имел место, или обличение американского насилия в той же стране, где террор ОАС скомпрометировал не только систему, при которой «в чужом глазу замечается соломинка, а

в своем не замечается бревно», но и всех ее политических противников. Что бы сказал французский гошист, если бы ему приписали слова господина Помпиду и критиковали его за них? Или что сказал бы итальянский коммунист, если бы ему стали доказывать, что Италия 1970 года — фашистское государство, цитируя в качестве довода высказывание какого-нибудь лидера неофашизма? Ответом было бы: движение мая 1968 года и господин Помпиду — совершенно разные вещи или же — в неофашистской партии состоит не вся Италия. Что же касается Америки, то европейские левые не признают, что там тоже есть свои левые, не говоря уж о том, что они значительно сильнее, чем европейские гошисты. Мы словно неспособны различать другие факты, кроме тех, что имеют правые тенденции. Как не удивиться следующей фразе одного из самых прозорливых и знающих французских политических комментаторов: «В Соединенных Штатах единственный серьезный противник господина Никсона сейчас — это Джордж Уоллес».[1] Даже если сделать скидку на паникерство издали — явление не только европейское, но особенно французское, — которое связано с олицетворением всей Англии с Энохом Пауэллом, а Германии — с фон Тадденом, и с преувеличением роли правых в других странах для того, чтобы в собственной стране легче было смириться со своими правыми, следует признать, что такое представление об американской истории устарело. Мы традиционно ссылаемся на маккартизм, выдавая его за подлинно американское явление. Мы попросту забываем, что маккартизм уничтожен, а Барри Голдуотер потерпел сокрушительное поражение на выборах в 1964 году. Крайне правые еще ни разу не побеждали в Соединенных Штатах. Маккартизм был подобен тому нацизму, от которого в 1931 году Германия сумела бы изба-

[1] Андре Фонтэн, газета «Монд», 21-22 июня 1970 года.

виться. Следует спросить, как и какими средствами американцы смогли затормозить правые тенденции, преподав тем самым урок Европе, странам, в которых либеральные демократы никогда не могли преградить путь фашизму? Но вместо того, чтобы выяснить причины, мы продолжаем выискивать примеры расизма в Америке, а потом подгонять выводы и игнорировать конечный исход событий. Предположим, например, что в Америке напечатана книга о деле Дрейфуса, которая кончается первым процессом и увольнением Дрейфуса из армии, так что читатель остается в неведении относительно всех драматических подробностей его истории и его оправдания. Все это не так уж отличается от того, как ведут себя европейцы, когда они делают вид, будто левого движения в Америке не существует, тогда как американские левые представляют собой, вероятно, единственную революционную надежду, которая спасет мир от разрушения.

Когда мне приходилось обсуждать в Америке движение диссидентов — отказ служить в армии, отказы научных центров выполнять военные заказы, солидарность молодежи с неграми, индейцами, пуэрториканцами и т. д., — я всегда слышал один и тот же вопрос: «Да, но разве все это ведет к организованной деятельности?» (Между прочим, единственный вид организованной деятельности, который я наблюдал, — это «туннель» в Канаду для стремящихся избежать службы в армии.) Совершенно ясно, что подразумевал этот вопрос. Задававшая его молодежь, образно говоря, хотела бы попасть в полуфинал революции путем организации собственной партии, с конвенциями, комитетами, избранием руководства, с теоретическими указаниями и союзами с другими партиями. Больше всего меня удивило следующее обстоятельство: весьма сомнительное достоинство французского движения в мае 1969 года заключалось в том, что этот неорганизованный взрыв революционного чувства смог напугать и встряхнуть бюрократов и идеологическую рутину. Так почему же неорга-

низованная деятельность может быть в Европе достоинством, а в Америке — недостатком? Особенно если этот новый тип протеста возник не в Европе, а в Америке, где он не был опошлен риторикой маоистского толка и продолжает давать определенные результаты. Движение диссидентов Америки вызвало замешательство у властей и проявилось во всех областях — в политике, в экономике, в культуре. Но строго говоря, оно не является ни политическим движением оппозиционной партии, ни экономическим протестом угнетенного класса, ни мятежом подрывной мысли в культуре. Безусловно, это движение включает в себя все три этих элемента. Например, студенты поддержали забастовку сельскохозяйственных рабочих виноградников Калифорнии, введя запрет на виноград в студенческих столовых, что нанесло существенный ущерб владельцам виноградников, так как студенческие столовые обслуживают шесть миллионов человек — профессоров, студентов, персонал. В политическом плане благодаря поддержке диссидентов сенатор Юджин Маккарти, известный противник войны во Вьетнаме, приобрел национальную и международную известность в ходе предвыборной кампании 1968 года. В области культуры диссиденты отказались от традиционных американских моральных ценностей, отвергли интеллектуальный конформизм, начали революцию в области секса и изобрели новый образ жизни (что проявилось в одежде, в использовании наркотиков, в музыке, в презрении к материальным благам, в отношениях между полами), который прямо противоположен представлениям средней буржуазии о респектабельности. Когда рушится плотина, трудно удержать поток — он широко разливается. Точно так же движение диссидентов охватывает не одну область жизни. Так, калифорнийские рабочие виноградников были не только эксплуатируемыми рабочими. Это были американцы мексиканского происхождения, их экономическая борьба представляла собой борьбу угнетенного

меньшинства. Студенты, поддерживая забастовщиков, требовали не только более высоких ставок зарплаты, но и введения испанского языка в школах, проверок уровня развития мексиканских детей на их родном испанском языке. «Чиканос», как называют в Америке говорящих на английском языке потомков выходцев из Мексики, стремятся сохранить свою культуру, свой «этнический облик». Они не хотят превращаться в колонизируемое население внутри страны, как это произошло с некоторыми региональными меньшинствами во Франции. Такая идея национального единения является не столько частью идей движения диссидентов, сколько частью самой Америки, потому что американцы считают свою страну не чем-то «целым», а сообществом, в котором меньшинства сохраняются и ассимилируются, но не уничтожаются.

В целом американское движение диссидентов было более успешным при достижении четко определенных целей, чем его европейский «партнер». Я еще раз приведу пример с исследовательскими центрами, которые отказались проводить или продолжать работы по военной программе; пример этот очень важен. С другой стороны, американские диссиденты не добились, как их европейские коллеги, полного закрытия университетов. Но в свою очередь американское высшее образование не было ослаблено ни переменами, ни своей неспособностью к переменам. Примерно двадцать тысяч студентов в Бэркли продолжают получать образование, считающееся лучшим в Америке, а может быть, и во всем мире; и это несмотря на тот факт, что, будучи подобным Сорбонне по своим огромным размерам, этот университет испытывает много трудностей, схожих с трудностями европейских университетов. Иначе говоря, движению американских диссидентов удалось избежать одной из главных опасностей, связанных с переменами: уничтожения объекта этих перемен до их осуществления; в таком случае революция ведет к слаборазвитости и поэтому сама себя уничтожает.

Таким образом, движение американских диссидентов, несмотря на его отдельные отрицательные стороны, отвечает одному из необходимых условий революции: оно бросает вызов моральным ценностям, изменяет альтернативы и в целом критикует культурные нормы. Более того — и это особенно важно, — все осуществляется в контексте общей ситуации страны. Во всяком случае, эффективность движения диссидентов бесспорна, и оно намного превосходит аналогичное движение во Франции.

Однажды я рассказал одному французу об участии американских студентов в забастовке рабочих виноградников. В первый момент мне показалось, что он, наконец, откажется от своего представления об Америке как о реакционной стране. Но потом он заявил: «Чепуха, они, наверное, ели виноград, полученный из Израиля». Полная абсурдность ввоза винограда из Израиля в Калифорнию даже не пришла ему на ум, не говоря уже о том, что израильский виноград просто разорил бы владельцев виноградников в Калифорнии. Но моего собеседника главным образом интересовали его любимые идеи — капитализм янки и империализм сионистов, причем последний маскируется первым. Из рассуждения такого рода следовало, будто студенты поддерживали «чиканос» для того, чтобы (каким-то образом) поработить палестинских арабов. Так замыкался логический круг. Я должен отметить одну деталь: моим собеседником был не заурядный пьяница, которого я случайно встретил в баре, и не полоумный маоист, это был хорошо известный политический журналист, считающийся «выдающимся репортером».

В соответствии с мышлением этого человека империалистический просионизм Соединенных Штатов не мешает американцам быть антисемитами у себя дома. И этот антисемитизм — всего лишь один из аспектов общего расизма, который, как каждому порядочному европейцу известно, является главной характеристикой американцев. Вскоре после разговора с этим репортером

я беседовал с одной крайне левой писательницей, которая спросила меня тоном, предполагавшим, что она заведомо знает ответ, все так же ли силен в Америке антисемитизм. Я ответил, что слышал, будто в некоторых клубах и ресторанах действительно все еще имеет место определенная дискриминация, но лично я во время моей поездки этого не видел. Она набросилась на меня, предложив показать список из двадцати или тридцати ресторанов Нью-Йорка, где людям с еврейскими фамилиями отказываются резервировать места. Стараясь избежать столкновения, я заметил, что ее информация может быть и правильна, но мне за время посещения Соединенных Штатов не пришлось в этом убедиться. И я добавил: «А кроме того, в штате Нью-Йорк существует закон против дискриминации в общественных местах. Если кто-либо занимается дискриминацией, на него можно подать в суд». На этом спор окончился. Позднее, когда мне вспомнились слова этой дамы, я просто возмутился. В Америке живут сегодня шесть миллионов евреев. Почему они там? Потому что они или их родители были изгнаны из Европы преследованиями, погромами начала века в России, Венгрии, Польше и Румынии. Они живут в Америке, потому что в Европе у нас был Гитлер и расовые законы Франции времен Виши с облавами на евреев. В тот самый момент, когда эта дама читала мне лекцию об антисемитизме в Америке, во Франции появились признаки странного коллективного психоза в виде разных слухов: «слухи из Орлеана», «слухи из Амьена». Содержание таких слухов: женщины этих городов заходили в еврейские магазины и потом исчезали.

Варварская, кровавая, узколобая, фанатичная и репрессивная Европа! Европа, в которой всегда существовали все проявления антисемитизма, от утонченного издевательства до спланированного геноцида. Европа, которая дошла до апогея антисемитизма в наше время, в годы Второй мировой войны, когда было уничтожено

почти вдвое больше евреев, чем все еврейское население США сегодня. А я вежливо выслушал от француженки, европейской женщины, обвинение Америки в антисемитизме при распределении мест в ресторанах.

Много времени спустя после этого разговоря я посмотрел фильм Фредерика Россифа «Почему Америка?» Если поверить этому фильму, то вся история Соединенных Штатов между двумя мировыми войнами заключается в сухом законе и его последствиях, в гангстеризме и Ку-Клукс-Клане, в юридических расправах, вроде той, жертвами которой стали Сакко и Ванцетти, в экономическом кризисе и безработице, в избиениях рабочих полицией и ФБР. В фильме приводятся только наиболее абсурдные высказывания официальных лиц; их абсурдность подчеркивается комментарием, который вызывает дружный смех в зале. Конечно, упомянуты социальные реформы Рузвельта, но совершенно не ясно, откуда они взялись, потому что нет и намека на упоминание левых наклонностей советников президента. Ничего не говорится и об общественном мнении, которое позволило Рузвельту быть трижды легко переизбранным на пост президента. Конечно, трудно поверить, что он был бы хоть раз избран, если бы страна, описываемая в фильме «Почему Америка?», была и на самом деле населена почти исключительно жаждущими линча расистскими толпами, жестокими полицейскими, гротескными светскими дамами и гангстерами. В кадрах, посвященных началу войны в 1939 году, главное внимание уделяется прогитлеровским речам Чарльза Линдберга, позиции крайне правых и Американской нацистской партии. По интерпретации истории господином Россифом трудно понять, почему Соединенные Штаты вооружали Англию и Россию, да и своих собственных солдат, между 1942 и 1944 годом. И невозможно узнать, почему эта преступная и идиотская страна после прямого вторжения в Европу и обеспечения победы союзников стала после войны круп-

нейшей промышленной, политической, научной и технической силой в мире. Странная судьба для страны, населенной бандитами и фашистами.

Может быть, европейцы правы относительно Америки. В таком случае невозможно объяснить, почему в Европе, а не в Америке были Гитлер, Муссолини, московские процессы, концентрационные лагеря, петэнизм, франкизм, расовые преследования, гестапо и ГПУ, политическая ненависть Германии, Советской России, Испании, Франции и Италии. Почему же Соединенные Штаты всегда могли сохранять демократические институты и избегать фашизма? Почему тоталитарные режимы господствуют в европейской истории двадцатого столетия? И почему они господствуют и сейчас на большей части территории нашего континента? Иначе говоря, нам предлагают поверить, что в Америке всегда существовали причины для появления фашизма, и они все нагляднее проявляются теперь, но по какому-то необъяснимому стечению обстоятельств их результаты проявлялись у нас, на Европейском континенте. Это парадокс, конечно, но мы должны к нему привыкнуть, чтобы понять его. Даже политические наблюдатели, кажется, совсем не удивляются, что семена фашизма сеются всегда в Америке, а дерево всегда вырастает в Европе. С тех самых пор, как я научился различать на географической карте Европу и Америку, я слышал предсказания, что фашизм усилится в Соединенных Штатах и что в Европе укрепится социализм. Если эти предсказания верны, то мы сталкиваемся с самой большой загадкой современной истории. Мы никогда не сможем понять, почему за последние пятьдесят лет миллионы европейцев бежали в Америку, спасаясь от преследований, и почему всего единицы переселились из Америки в Европу.

К сожалению, мы склонны предъявлять разные требования к Америке и к другим странам. Дама, с которой я говорил об антисемитизме в Нью-Йорке, на все мои аргументы отвечала: «Нельзя пользоваться сравнения-

ми. Все сравнения в принципе фальшивы». Совершенно очевидно, что если мы ничего не знаем об антисемитизме в разных странах мира, то антиеврейский снобизм в нью-йоркских клубах и ресторанах может нам показаться олицетворением расизма. В таком случае я могу считать мой электрический чайник основным источником тепла всей вселенной, если не пользоваться сравнениями. Но есть такие, кто на этом не останавливается и безапелляционно заявляет, что все американское уже по своему характеру ужаснее, чем все самое ужасное в других странах. Один кинокритик, например, во время дискуссии по французскому телевидению, говоря о кадрах кинохроники тридцатилетней давности, в которых был показан танцевальный марафон, где участники после сорока восьми часов все еще продолжали бороться со сном, заявил: «Не думаю, чтобы мне когда-либо приходилось видеть что-нибудь более трагичное, даже в фильмах о концентрационных лагерях». Вот еще один, уже менее карикатурный пример: я заметил своему приятелю, что меня удивило разнообразие способов защиты американцами своих прав, и особенно та настойчивость, с какой люди используют все эти способы. В ответ на это замечание, которое мой друг счел весьма необычным, он сказал, что однажды в Америке он подошел к полицейскому чтобы спросить дорогу, а полицейский в ответ пригрозил ему дубинкой. Подозреваю, что в тот момент происходило нечто такое, чего мой приятель не заметил. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы американские полицейские разгуливали по своим участкам и избивали прохожих, которые спрашивали у них дорогу. Тем не менее, для моего друга полицейская дубинка олицетворяла историю Америки. И не только для него. Хотя мы, европейцы, больше других испытали на себе полицейские режимы, я заметил, что в коллекциях фотографий, сделанных европейцами в Америке, в документальных фильмах, снятых европейцами об Америке, всегда можно встретить снимок или кадр символического

полицейского — с бычьей шеей и обязательно поглаживающего рукоятку револьвера.

Когда европейцы не находят повода критиковать полицейские репрессии в Америке, они обращаются к сладостям и прочим товарам, которые олицетворяют для них Америку. В докладе о французском рабочем классе, составленном в 1970 году в Париже, можно прочитать буквально следующее: «Пойдите в супермаркет... высятся целые горы, в три метра высотой — новая уловка, завезенная из-за Атлантического океана — состоящие из банок пива, банок варенья, картонных коробок шоколада». Вероятно, даже пиво и шоколад становятся злом, если они по-американски сложены в кучу. Впрочем, и в консервативных странах магазины точно таким же образом выставляют свои товары, если только есть что выставить. Символом торговли в раннем буржуазном обществе была маленькая лавка с ее ограниченным набором товаров, каждый из которых занимал определенное место на определенной полке. И все было соответственно дороже. Но это не имеет значения. Иметь возможность выбирать в магазине — это плохо, потому что это «по-американски». И супермаркеты — тоже зло, потому что цены в них ниже. «По мнению домохозяек, — продолжает составитель вышеупомянутого доклада, — цены там действительно ниже, но покупаешь обычно больше». Я полагаю, нам следует предложить рабочим: «Платите дороже, но ешьте меньше!»

Иногда целью антиамериканизма является утверждение нашего собственного чувства интеллектуального и морального превосходства, иногда — полный отказ признавать факты, которые противоречат нашим предрассудкам. В последнем случае мы способны на удивительно утонченное искажение любого впечатления. Именно к этому разряду относятся наши доказательства низкого уровня американской культуры. Как-то я рассказал своему приятелю, что во время поездки в США мне довелось встретить очень интеллигентных

людей, и к тому же самых разных. (Вероятно, это было одним из наиболее неудачных утверждений. Ведь давно известно, что все американцы — идиоты и конформисты.) Чтобы поставить меня на место, мой приятель рассказал, как однажды в Калифорнии он за целый вечер не услышал ни одного человеческого голоса. Единственными звуками был шум стиральных машин, пылесосов и машин для стрижки газонов. Даже если бы мой друг смог доказать, что вечера в Пон-а-Муссон или в Кастельнодри проводятся за обсуждением Парменида, я все равно не соглашусь с тем, что данный калифорнийский пример имеет статистическое значение. Для него Калифорния — это убежище, где он защищен от унижения, связанного с необходимостью признать существование культурной Америки (это убежище имеет сомнительный характер, поскольку, следует заметить, этот самый мой приятель не знает ни одного английского слова).

Излюбленная мишень антиамериканизма — американские политические деятели, которые обычно кажутся олицетворением самодовольства. При этом не делается абсолютно никаких различий. В фильме Россифа «Почему Америка?» наибольший смех вызывает кадр, в котором президент Гувер произносит свою знаменитую фразу: «Мы находимся на пороге эры процветания, беспрецедентной в мировой истории»; эти слова были произнесены за несколько недель до краха 1929 года. Безусловно, принимая во внимание то, что вскоре последовало, фраза была малоудачной, однако она не была ни неточной, ни смешной, если учесть, что̀ последовало через десять-пятнадцать лет. Немедленно после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты вступили в период массового потребления и достигли жизненного уровня, «беспрецедентного в мировой истории». (Другой вопрос, нравится кому-то или не нравится образ жизни, обеспечиваемый этим уровнем.) Политические предсказания редко сбываются, еще реже они сбываются

через пятнадцать лет. Поэтому слова Гувера, какими бы неуместными они в свое время ни казались, были не столь уж далеки от истины.

Иногда нам приходится прибегать к уловкам перевода, чтобы придать американскому политическому деятелю особенно тщеславный и непривлекательный вид, лишь бы угодить нашему европейскому «эго». В феврале 1970 года президент Ричард Никсон направил конгрессу доклад об американской внешней политике объемом в 119 страниц. Впервые в дополнение к посланию «О положении страны», которое по традиции посвящено внутренним вопросам, был подготовлен подробный документ по международным делам. Создав, таким образом, прецедент, Никсон объявил, что намерен представлять конгрессу аналогичный доклад каждый год; он отметил на пресс-конференции, что такой доклад является «наиболее всеобъемлющим документом об иностранной политике Соединенных Штатов в этом столетии». В Париже 20 февраля газета «Монд» сообщила, что Никсон назвал этот документ «самым существенным документом, опубликованным в этом столетии...». Как видим, смысл совершенно искажен. Такое заявление изображает Никсона крайне тщеславным человеком, а то, что ни один американский президент не считал нужным делать ежегодный доклад о внешней политике страны, французские читатели так и не узнали. Они не узнали, что фраза «в этом столетии» означала признание того, что в американской истории уже существовал подобный документ: его представил в 1823 году президент Джеймс Монро. Тем самым чисто информационное сообщение американского президента было превращено в глазах французских читателей в саморекламный трюк.

В свете всего этого легко понять, почему книга Жан-Жака Серван-Шрейбера «Американский вызов» вызвала такую ярость в европейских «прогрессистских» кругах. Главная посылка книги заключалась в том, что успех Америки есть результат интеллигентности, а не

силы или изобилия природных ресурсов. Такое мнение было совершенно нетерпимым для европейцев, но удивительно привлекательным. И оно вызвало пылкое возмущение, хотя это возмущение было одновременно фальшивым и противоречивым. Такова природа вещей: невозможно сознательно игнорировать что-либо реально существующее, если мы знаем, что оно действительно существует.

Наиболее унизительно для европейцев поражение в сфере культуры. Это единственное поражение, которое невозможно забыть, потому что его нельзя приписать простому невезению или варварству противника. Оно обязывает признать не только собственные слабости, но и унизительную необходимость искать спасения в ученичестве у победителя, которого приходится ненавидеть и одновременно подражать ему. Именно из-за этого урока книгу «Американский вызов» так обличали и так внимательно читали. Это подводит нас ко второму аспекту явления антиамериканизма: к систематическому отрицательному объяснению всего американского, которое сопровождается болезненным ощущением, что такое объяснение не имеет никакой ценности. Когда факты припирают нас к стене, нам приходится признать, что американский успех — не просто везение, что он может быть результатом того, что и правительство и частный бизнес придают первостепенное значение фундаментальным исследованиям. Но потом мы снова пытаемся спасти свой престиж, высмеивая «американский менеджеризм» и заявляя, что, так как мы отрицаем американские цели, нам не следует завидовать американским методам. Другими словами, если Америка чего-то добилась, мы тут же говорим, что это достижение бессмысленно. Когда рабочая неделя в Америке сокращается благодаря автоматизации, мы говорим, что американцы превратились в рабов техники. Когда они успешно борются с бедностью, мы фыркаем и начинаем разглагольствовать о «потребительском обществе». А ведь эти достижения

были извечной целью «научного» или утопического социализма.

Для большинства европейцев источником насмешек служила настойчивая борьба в Америке за сохранение природы и улучшение условий окружающей среды, за чистоту воздуха и воды. Для американцев это общенародное дело, в котором заинтересованы все; в Европе, и особенно во Франции, — это предмет мелких споров относительно охраны какого-нибудь национального парка, причем в таких спорах теоретики обычно берут верх над защитниками природы. Однажды я рассказал об этом одному французскому профессору, гостившему в американском университете, и он мне ответил: «Да, конечно, но американское правительство ничего не может сделать, так как ему пришлось бы бороться с монополиями». Немного времени спустя, в январе 1970 года, президент Никсон уделил значительную часть своего ежегодного послания «О положении страны» вопросам экологии. А затем был принят закон, предписывающий всем авиакомпаниям уменьшить на семьдесят пять процентов выделение вредных веществ из отработанных газов самолетов. Мой профессор, разумеется, заявит: «Да, конечно, но это сделано для того, чтобы отвлечь внимание американцев от войны во Вьетнаме». А я на это отвечу, что такой выход, в конце концов, лучше чем какой-нибудь другой (националистическая истерия в спорте, например) и что эта мера отнюдь не отвлекла внимания людей от войны во Вьетнаме. Антивоенные демонстрации продолжались, как и прежде. И что еще удивительнее, «везермены» начали взрывать бомбы. Последовала буря протестов по поводу вторжения в Камбоджу, во время которых имелись человеческие жертвы. Это можно объяснить тем, что борьба против войны и борьба против загрязнения окружающей среды для американской молодежи — единое целое. Правительство не может справиться с одним, не решая проблем другого. Уже упомянутый профессор, с которым я

переписываюсь, отказывается с этим согласиться. По его мнению, в Америке *не должно быть* революционных тенденций. А потому, заключает он, делая странный логический поворот, столь распространенный среди левых, борьба за улучшение жизни людей — а охрана окружающей среды является ее составной частью — есть главным образом борьба не политическая. Тем не менее он отказался от своего первоначального утверждения, согласно которому экологическая деятельность правительства — отвлекающий маневр. Он пишет: «Официальные лица поддерживают борьбу по защите окружающей среды, потому что выборы в Сенат и в органы власти штатов должны состояться в конце года, а не потому, что их заботит здоровье людей». Мне следовало бы ответить: «Тогда надо чаще проводить выборы». Но в ответном письме я написал: «Это невозможно. Выборы полностью фальсифицированы средствами массовой информации, манипуляцией общественным мнением».

Нет ничего проще, чем интерпретировать факты так, чтобы они подтверждали любые положения. В качестве примера позволю себе привести сокращенную запись одного диалога:

Приятель: Американцы некультурны и расчетливы.

Ревель: Прошу прощения, они читают больше, чем мы, и у меня есть цифры относительно книготорговли в Америке, которые это подтверждают.

Приятель: Может быть, но это потому, что большинство книг, которые они читают, — порнография.

А вот еще один пример:

Приятель: Американцев не интересуют проблемы негров. Они даже не пытаются их понять.

Ревель: Но книга Элдриджа Кливера «Душа на льду» разошлась более чем миллионным тиражом.

Приятель: Значит, ее покупали негры, а не белые.

Ревель: Совсем недавно организована телевизионная

система, которая будет вести передачи специально для негров.

Приятель: Ее цель — усилить отчуждение негров. Негры еще и теперь не умеют читать, потому что их специально оставляли неграмотными.

Должен уточнить, что между этими противоречивыми утверждениями были интервалы во времени, и я привел только общее содержание разговора. Однако не будет преувеличением сказать, что именно так действует механизм антиамериканизма.

В газете «Монд» за 15-16 марта 1970 года я обнаружил следующий заголовок: «Четверо убито взрывами бомб в Мэриленде и Нью-Йорке». Далее следует отчет о первых взрывах бомб «везерменами» — это экстремистская группа в Америке, которая, так же как и «Черные пантеры», считает, что настал момент нелегальных и насильственных действий. Прочитав эту статью, я подумал, что следовало бы объяснить такие понятия, как «конформизм», «пассивность», «безразличие» или «монолитизм», которые обычно используются для описания «обработанного» общественного мнения американцев. Мне представляется, что если мы осуждаем преследования «пантер» или «везерменов», следует уточнить, в чем состоит их деятельность. И как их деятельность и агитация возможны в конформистском, пассивном, безразличном и монолитном обществе? Но таких разъяснений в статье нет. Вместо того, чтобы признать, что Америка, по меньшей мере, не полностью контрреволюционна, автор статьи, Ален Клеман, подчеркивает реакционные аспекты отношения общественного мнения к «везерменам». Конечно, в тот момент общественное мнение было настроено довольно враждебно к молодым революционерам-экстремистам. Клеман сделал отсюда вывод, что Сенат будет голосовать против снижения избирательного возраста до восемнадцати лет. (В июне 1970 года эта мера была проведена и закон подписан президентом Никсоном. В декабре того

же года конституционность закона подтвердил Верховный Суд США. Это еще одна область, в которой американцы опередили европейцев, за исключением англичан.) Относительно взрывов бомб автор заметил: «Американская полиция так и не преодолела отсталости, которая является результатом векового дилетантизма и продажности. Процент нераскрытых крупных преступлений в Америке один из самых высоких в современных обществах. Поэтому у американского гражданина есть все основания считать, что у него нет защиты».

Тут явно концы с концами не сходятся; я-то был полностью убежден, что Америка — полицейское государство, где ничто не может ускользнуть от бдительного ока ФБР. Однако, когда нужно доказать, что в Америке нет революционной атмосферы и требуется найти козла отпущения, тут вполне пригодно сослаться на неэффективность американской полиции.

Можно спросить себя, не вызван ли антиамериканизм опасением, что, возникнув в Америке, беспорядки могут распространиться на весь мир? Этот страх в конечном итоге есть страх перед революцией. Если это не так, то почему люди семидесятых годов упорно считают, что Америка населена только консерваторами, а не противоборствующими группами, как другие страны? Как можно игнорировать тот факт, что в Соединенных Штатах идет борьба, что ее исход неясен, но ее задачи и цели имеют исключительное значение для всего человечества? Почему люди вздыхают всегда с облегчением, когда получают возможность подкрепить свое убеждение в торжестве реакции в Соединенных Штатах?

Если антиамериканизм действительно базируется на страхе перед революцией, тогда, вероятно, антиамериканизм левых не очень отличается от антиамериканизма правых. И тот и другой продиктованы боязнью перемен, завистью, опасением, что какая-то иная, а не их цивилизация выступает в роли главного фактора

решения мировых проблем. Правый антиамериканец завидует Соединенным Штатам, потому что они сильны. Для него нет ничего ошибочного в самой идее мирового господства, но он хотел бы сам его осуществлять. Более того, он боится «разлагающего» влияния американского образа жизни на традиционные общества, чьи полупромышленные, полудеревенские структуры восходят к девятнадцатому веку. Левого антиамериканца угнетает мысль о том, что его побеспокоят. Он тоже мечтает о девятнадцатом веке — веке, в конце которого должен был произойти «классический» переход от Первой промышленной революции к социализму. Теперь ему ясно, что события истории избрали другой путь развития; и этот путь он понимает очень плохо, он не предусмотрел его. Кроме того, ему противно думать, что в конце этого пути его ждет, возможно, революция — революция совершенно новая, которой он не может понять. Таким образом, обе эти разновидности антиамериканизма, при всем их различии, выполняют общую функцию — они объясняют провал. Для правого антиамериканца упадок его страны объясняется непомерным ростом американской мощи; этот рост стал возможен в результате упадка остальных великих держав. Для левого антиамериканца отсутствие или провал социалистической революции требует неотложного объяснения, и изобретение иностранного козла отпущения оказывается необходимым бальзамом для его «эго», столь истерзанного неудачами и изменами. Поэтому американский «империализм» представляет собой удобную мишень как для разочарованного социалиста, так и для оскорбленного националиста.

Наиболее слабая сторона антиамериканизма в том, что он не в ладах с фактами, а поэтому затрудняет к ним доступ. Ввиду этого следует выяснить реальные данные о проблемах человека XX века в Америке. Говорим ли мы об империализме, о свободе, об экономической борьбе, о расизме, культуре, о таможенных тарифах или о распространении информации, мы

должны стараться проникнуть в истинное положение вещей в Америке. И когда мы пробираемся через нагромождённые страхом, клеветой и абсурдом дебри, мы обнаруживаем достаточно данных, чтобы заключить, что ситуация сложна и противоречива.

Безусловно, нельзя нейтрализовать антиамериканизм, заменив его таким же несовершенным проамериканизмом. Систематический антикоммунизм критиковался достаточно, и мы, наконец, поняли, что труднее всего излечить систематический прокоммунизм. Именно сама позиция этих систематических «анти» и «про» является особенно вредной. По-моему, дело не в том, чтобы хвалить или порицать американское общество, а в наблюдении за противоборствующими в этой стране силами. Хвалить или порицать без разбора всю страну — примитивно и бессмысленно. Все, что мы можем попытаться сделать, это оценить, ведут или нет определенные политические, экономические и моральные ценности к созданию общества как к желанной цели. Поэтому в мои намерения не входит «защищать Америку, поскольку я не считаю ее чем-то единым. Я намерен показать, что это *не* единое целое, причем настолько не единое, что разделение страны привело ее на грань гражданской войны.

Я утверждаю, что есть революционная Америка и американская революция, которая не имеет ничего общего с революциями девятнадцатого века — или, скорее, с революциями, о которых мечтали в девятнадцатом веке. (Именно потому, что это совершенно новый тип революции, европейцы не распознают ее или не хотят ее распознать. Они считают, что если вспыхнет новая революция и возникнет новая цивилизация, то им придется уступить свою господствующую и созидательную роль. Это реакция уязвленного левацкого шовинизма.) Если Америка действительно находится в процессе внутреннего конфликта, то можно считать, что с ее системой и в самом деле что-то неладно; но можно также считать, что главное — способность к перемене

— существует в Америке в значительно большей степени, чем в любой другой стране. Это утверждение не есть «проамериканизм»; во всяком случае, оно не более проамериканское, чем утверждения проамерикански настроенных американцев, которые разрушают старую Америку. По-моему, проамериканизм вообще не существует. Если попытаться противопоставить проамериканизм антиамериканизму, это будет означать противопоставление двух иррациональных позиций. Нам следовало бы противопоставлять аналитическую позицию и позицию эмоциональную. И так как эмоции «пренебрегают» анализом, мы, в свою очередь, можем пренебречь эмоциями. Позволю себе привести пример. Один молодой писатель, прочитав мою статью о свободе информации в Америке, заявил, что я «хвалю Америку», а следовательно, хвалю вьетнамскую войну. Как можно ответить на подобное обвинение? Разве что сказать: если хвалишь Бетховена, значит хвалишь Германию, а если хвалишь Германию, значит хвалишь Гитлера.

Благонамеренно настроенный американец-конформист реагирует сегодня на все столь остро только потому, что ему бросали яростный вызов за последние несколько лет. И эта реакция не так уж злобна, если принять во внимание, что все попытки организовать контрдемонстрацию в поддержку вьетнамской войны бесславно провалились. Если, тем не менее, считать, что правые в США сильны, все равно будет несправедливо говорить всегда и только о них, замалчивая тот факт, что страна разделена на два антагонистических лагеря примерно равных размеров и что шансы скорее на стороне диссидентов, чем консерваторов.

12. НОВАЯ ДИНАМИКА РЕВОЛЮЦИИ

Наиболее распространенная в отношении Соединенных Штатов ошибка заключается в попытках объяснять эту страну в рамках революционных положений, с которыми мы знакомы и которые обычно являются чисто теоретическими. Затем, когда мы убеждаемся, что эти положения неприменимы к ситуации в Америке, мы заключаем, что Америка — реакционная страна.

Известные нам революционные схемы, которые мы обычно пытаемся применять, основаны на существовании антагонизма: крестьян против землевладельцев, рабочих против капиталистов, колониальных народов против колонизаторов. Сегодняшняя американская революция напоминает скорее центробежное вращение, чем столкновение противостоящих лагерей. Некоторые ее характеристики сходны с характеристиками старомодных революций. Есть угнетенные и угнетатели, эксплуатируемые и эксплуататоры, бедные и богатые. Есть морально неудовлетворенные существующим положением люди — основное условие революции — и есть серьезные разногласия в правящей элите.

Есть и совершенно новые, типичные для Америки черты. «Бедные» — это довольно необычный тип бедных: ими считаются люди, чей доход колеблется в пределах 1.500-3.000 долларов в год; если он ниже последней цифры, тогда люди имеют право на государственное пособие. И это в стране, где стоимость жизни не намного выше, чем в крупных европейских городах. Кстати, в Америке процветание делает все

относительным; некоторые психологические и моральные факторы, важные в Европе, здесь не играют большой роли при определении революционных задач страны. Американская революция, несомненно, первая революция в истории, в которой несогласие относительно ценностей и целей выражено более отчетливо, чем несогласие относительно средств к существованию. Американские революционеры хотят не просто равного дележа пирога; они хотят совершенно другой пирог. Этот дух переоценки ценностей, пока еще более эмоциональный, чем интеллектуальный, стал возможным благодаря такой свободе информации, какую не терпела ни одна цивилизация до сих пор, даже если она шла на пользу правящего класса, не говоря уж об уровне массовой информации. Эта доступность информации способствовала возникновению широко распространенного острого чувства вины, страсти к самообвинению, которая иногда становится даже чрезмерной. А это, в свою очередь, привело к беспрецедентному в истории результату: внутренний мятеж против империалистической ориентации американской внешней полититики.

Этот внутренний мятеж, однако, не является единственным признаком нового направления революции. Никогда еще ни одно демократическое общество не находилось в таком положении, в каком находятся Соединенные Штаты в связи с проблемой негров. Перед лицом этой серьезнейшей внутренней проблемы, а также требований афро-американцев американское общество делится на отдельные группы и находится в процессе, ведущем к полицентризму в области культуры. Этот процесс сводит на нет наши предрассудки в том, что касается американского «конформизма» и «униформизма». Слишком много сил действует в американском обществе, чтобы, чтобы оно оставалось единообразным.

Другой беспрецедентный признак американской революции — это бунт молодежи, заразительные последствия которого как в национальном, так и в международном плане были такими бурными между 1965

и 1970 годом. Более того, это совершенно новый аспект раскола в высших слоях общества в революционные моменты, потому что молодые революционеры — это в большинстве своем студенты, то есть представители привилегированного класса. Следует указать, что этот «привилегированный класс» становится все менее исключительным; это своего рода случай «массовой привилегии». Сегодняшние беспорядки — это не только результат многочисленности молодежи, но и результат большой доли студентов среди молодежи вообще. При населении страны в 200 миллионов человек в настоящее время имеется 7 миллионов студентов; к 1977 году численность студентов достигнет 11 миллионов.[1]

Говорят, что в Соединенных Штатах существуют три нации: негритянская нация, нация Вудстока и нация Уоллеса. Первая объясняется ее названием. Вторая получила название по большому собранию молодежи в Вудстоке (штат Нью-Йорк) в 1969 году. В нее входят и хиппи и радикально настроенная молодежь. Третья нация обязана своим названием мистеру Джорджу Уоллесу из штата Алабама; она состоит из белых американцев «нижних слоев среднего класса», символом которых являются «каски» строительных рабочих. Каждая из этих наций имеет собственную терминологию, свои формы искусства, свои обычаи. У каждой есть свои «бойцы»: «Черные пантеры» у негров, «Везермены» у вудстоковцев, Ку-Клукс-Клан и различные гражданские организации у уоллесовцев. Можно добавить еще несколько «наций», как например женщины из «Движения за освобождение женщин», объявившие войну сексизму (слово скопировано со слова «расизм»), и перенявшие методы борьбы таких групп, как «Власть черных» и «Власть студентов». Есть еще одна значительная группа граждан, не являющихся ни неграми,

[1] Во Франции, например, при населении в 50 млн. человек имеется 600 тысяч студентов. При одинаковой с Соединенными Штатами пропорции студентов было бы почти 2 млн.

ни особенно молодыми, ни особенно интеллигентными. Далекие от реакционности, они нередко бывают воинственно прогрессивными; их довольно туманно называют либералами. Либералы часто придавали видимость массового движения демонстрациям, которые без их участия привлекли бы лишь экстремистов. Они участвовали вместе с неграми в демонстрациях во время начавшегося в 1952 году южного бунта, а также в различных мораториях против вьетнамской войны. Они выступают на стороне студентов, на стороне индейцев, на стороне стран третьего мира. 21 мая 1970 года, например, тысячи нью-йоркских адвокатов, которых можно назвать управляющими правящего класса, явились в Вашингтон с протестом против американского вторжения в Камбоджу. В тот же день в Нью-Йорке «каски» демонстрировали в поддержку этого вторжения. И в тот же самый день на нью-йоркской фондовой бирже резко упали цены акций; по мнению некоторых американских комментаторов, это свидетельствовало о том, что финансисты, как и адвокаты, не были согласны с политикой правительства относительно ведения войны. Чтобы понять характер этих новых политических классов, не достаточно выработанных в девятнадцатом веке определений; эти классы различаются по половому и расовому признаку, а также по своей эстетике; можно сказать, что они базируются на отрицании неудовлетворительного образа жизни. Каждая из этих категорий имеет свои специфические экономические, расовые, эстетические, моральные и религиозные или духовные отличительные черты; у каждой — свои обычаи, манера одеваться и даже есть, хотя всех их, вместе взятых, обычно и называют «сообществом». Характер этого «сообщества» скорее можно представить в виде расположенных друг над другом кругов, чем в виде социально стратифицированных уровней. Есть, однако, общие зоны, где эти круги перекрываются: например, негры — молодые радикалы — феминисты, причем у некоторых из них есть общие интересы в области культуры.

13. РЕВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

В предыдущей главе я пользовался термином «культурный» в смысле «имеющий отношение к формам цивилизации». Однако в более ограниченном смысле термин этот употребляется для обозначения деятельности, связанной с образованием и информацией. В этом смысле можно утверждать, что массовые средства коммуникаций играют роль революционной силы в современной американской культуре или, по крайней мере, являются катализатором обновления внутренней динамики конфликта. Это особенно верно в отношении наиболее нового и наиболее важного средства массовой информации — телевидения.

Что на самом деле способно дать телевидение? Верно ли, как утверждают Адорно и Маркузе, что это — средство необратимой обработки? Может ли оно и впрямь внушать пассивность, конформизм, гипнотизировать и сообщать людям, которые становятся «массой», умственную тупость? Даже в такой примитивной с точки зрения средств коммуникаций стране, как Франция, политические партии ведут борьбу за контроль над телевидением точно так же, как древние греки боролись за свой Акрополь. Мы слышим, как политические деятели партий большинства, словно актеры в трагических сценах, с ужасом объявляют: «С октября я всего три раза был на телевидении». А деятели других партий не расстаются с секундомерами: «За последние полтора

года я был на телеэкране всего семь минут сорок пять секунд. Что можно сделать за такое время?» А тем временем телеинтервьюер поглядывает на студийный секундомер: осталось всего тридцать секунд, чтобы закончить интервью. Конгресс голлистов в Версале в июне 1970 года и последовавшая сразу за ним пресс-конференция президента республики не оставили никакого сомнения в том, что партии большинства не желают поделиться экранным временем с людьми, придерживающимися других мнений. Эти господа словно бы говорили: «Государство — это телевидение».

В Европе озабоченность возможностями, предоставляемыми массовыми средствами коммуникаций, нашла свое отражение в книге Сержа Шакотина «Насилие над массами», опубликованной в 1939 году и рассматривавшей использование средств информации Гитлером в политических целях. По всей видимости, книга эта не устарела и сегодня в том, что касается нашего отношения к средствам информации.

Одна из самых наивных идей заключается в ассоциации политической пропаганды с коммерческой рекламой. На самом деле политическая пропаганда и коммерческая реклама похожи сегодня друг на друга только тем, что обе они являются средством убеждения. Они совершенно разные по своему подходу к зрителю и по-разному пытаются изменить его привычки. Телезритель в конце концов не так уж глуп. Он, конечно, может купить определенную зубную пасту, но никто еще не смог убедить его, что зубная паста и политическая власть это одно и то же. Более того, все социологические исследования показывают, что телереклама играет совершенно незначительную роль в формировании и ориентации политических склонностей. Это справедливо, однако, только при условии, если зритель способен отличать коммерческую рекламу от политического призыва. В книге «Насилие над массами» отмечен характерный пример, когда при политическом

вакууме тоталитаризма повсюду был слышен только один голос, голос Гитлера. При таких условиях совершенно очевидно, что массы находятся полностью во власти тех, кто ими управляет. Но такое положение обязано своим возникновением не радио и телевидению. Оно существует потому, что вводится новый элемент, чуждый самой идее массовых средств информации: физическое устранение противоречий. Однако, как показывает опыт, мнения, создаваемые монополизированными средствами информации, так же легко разрушаются, как и создаются. Государство, контролируя информацию, может заставить народ верить во все, что оно хочет; но контрпропаганда может за один день уничтожить то, на что государству потребовалось двадцать лет. Следствием этого является снижение воздействия телевидения пропорционально разнообразию средств информации. В плюралистическом обществе программа телевидения не может формировать общественное мнение, если она не является чем-то иным, кроме телевизионной передачи.

Есть несколько примеров, которые это подтверждают. Во время Второй мировой войны была создана экспериментальная аудитория из двух групп американских солдат для программы на тему: будет ли война долгой или короткой. Первая группа слушала передачи, которые аргументировали утверждение, будто война будет долгой, а вторая — дискуссионные передачи, в которых приводились доводы в пользу обеих возможностей. В первой группе из тех людей, которые верили, что война будет короткой, только тридцать шесть процентов стали верить, что война будет долгой; во второй же группе — сорок восемь процентов людей стали верить, что война будет долгой. Группа, подвергшаяся «обработке», труднее поддавалась воздействию, чем другая группа. А во второй группе обсуждение аргументов с разных сторон повлияло на мнение не только тех, кто был под впечатлением доводов в пользу долгой войны, но и на мнение тех

участников эксперимента, которые сочли аргументацию в пользу короткой войны неубедительной. Затем обе группы вместе слушали программы, в которых аргументировалось, будто война будет короткой. У первой группы, не имевшей до этого доступа к обоим видам аргументации, мнение изменилось; во второй группе, которая уже была знакома с аргументами и того и другого характера, изменения были незначительными.

Односторонняя пропаганда скорее укрепляет существующие мнения, чем вызывает их изменения. Она создает общественную поддержку, но эта поддержка исчезает, как только раздаются иные, непривычные ее слуху звуки. (Этим фактором нередко объясняют отрицательные результаты президентских выборов во Франции в 1965 году.) С другой стороны, если массовые средства информации часто воспроизводят дискуссии и противоположные точки зрения, то общественное мнение проявляет тенденцию к стабилизации. Так, знаменитые телевизионные дебаты между Кеннеди и Никсоном в 1960 году во многом повлияли на голосование тех, кто до того не особенно внимательно следил за предвыборной кампанией. После этого телевидение провело еще несколько дискуссий, но результаты были менее драматичными; самое большое влияние оказала первая дискуссия между кандидатами, тогда как последующие имели второстепенное значение: мнения зрителей уточнялись, иногда даже менялось их первоначальное отношение к тому или иному кандидату. Этот факт должен приглушить разглагольствования относительно «кампании по-американски». Кампания по-американски заключается не во внешности кандидата, не в самолетах, парадах или плакатах. Это прежде всего создание и признание конфликтной ситуации. Что же касается телевидения, то чем шире его распространение, тем различнее люди, пользующиеся им, тем меньше вреда от его использования. Не широкое использование средств информации сбивает людей с толку, а информационное мальтузианство — контроль над информа-

цией. Не многочисленность и насыщенность телевизионной информации превращает людей в марионеток, а недостаточность и посредственность этой информации.

Для американского общественного или государственного деятеля невозможно все время отказывать журналистам в информации и объяснениях, точно так же как было невозможно для министра в золотой век парламентской демократии не ответить на запрос оппозиции. Современный упадок парламентарного правительства (менее существенный в Соединенных Штатах, чем в других странах) был сбалансирован и нейтрализован контролем со стороны средств информации. Слово «контроль» недостаточно сильно, потому что общественный или государственный деятель чувствует в моменты кризиса необходимость предстать перед камерами и объяснить то или иное политическое действие или даже различные аспекты его личной жизни. Так, в 1952 году Никсон объяснил, почему он считал оправданным принять деньги от некоторых фирм. В 1969 году Эдвард Кеннеди счел необходимым дать объяснения по поводу несчастного случая в Чаппаквидике, когда погибла Мэри Копечне. Некоторые комментаторы объясняют эти выступления попыткой обработать общественное мнение, использовать массовые средства информации с целью повлиять на людей — особенно в тех случаях, когда выступающий покупает телевизионное время. Эти комментаторы не понимают, что когда человек вынужден покупать телевизионное время, он испытывает необходимость оправдать свои действия. С таким же успехом можно утверждать, что выступление адвоката в суде предназначено для «обработки» присяжных — попытка тем более скандальная, что обвиняемый платит адвокату гонорар за его услуги. Однако при этом забывается, что обвиняемый предпочел бы вообще не быть обвиняемым. Такой подход, если его довести до логического завершения, привел бы к возникновению удивительной

парламентской истории Европы. В ней, например, было бы записано, что Ллойд Джордж оказал давление на палату общин тем, что он выступил с трибуны парламента, а не записал на пластинку те объяснения своих действий, которых требовала палата.

Покупка телевизионного времени возникает из необходимости защиты позиции, которую средства информации не считают заслуживающей внимания. Это напоминает автора, издающего свое сочинение за собственный счет. В противоположность тому, как считают в Европе, телевизионное время покупают не только реакционеры (напомним случай, когда четыре выступавших против войны сенатора купили в 1970 году время для обсуждения неконституционности вторжения американских войск в Камбоджу); но это не самое главное. Главное состоит в том, что ни один находящийся на виду американец, будь то бейсболист, обвиненный в незаконном получении денег, или мэр крупного города, или профсоюзный деятель, или голливудский актер, — никто не может отказаться от возможности появиться на телевидении для обсуждения аргументов его противников либо для ответов на вопросы журналистов, не дискредитировав себя полностью. Ответ типа «никаких комментариев» возможен только в том случае, когда отвечающий не уполномочен предоставить испрашиваемую информацию, либо если данное лицо недостаточно высокопоставлено в своей организации, либо данная информация конфиденциальна. В Соединенных Штатах, однако, даже государственные секреты лишь временно секретны. В апреле 1968 года я видел, как мэр Чикаго Дэйли подробно излагал репортеру инструкции, которые он дал полиции на случай беспорядков среди негров. Немедленно после этого мэр Нью-Йорка Линдсей обвинил Дэйли в том, что его инструкции противозаконны. Такое совершенно невозможно в более закрытых обществах, где первый мэр, конечно же, «оказался бы, к сожалению, отягощен различными

делами и не имел возможности принять представителей прессы»; а второй мэр скромно воздержался бы от комментариев по такому щекотливому делу, как инструкции полиции и их законность.

Во Франции сокращение парламентской власти не компенсировалось усилением власти прессы. В Соединенных Штатах же пресса превратилась в такую силу, что смогла заставить члена Верховного суда Соединенных Штатов Эйба Фортаса уйти в отставку, поскольку он получал гонорары за консультации от частных фирм при сомнительных обстоятельствах; она может потребовать от крупных промышленных фирм прекращения производства и продажи их товаров; она может заставить агентов ЦРУ объяснить их задачи и методы, как это было во время серии передач в январе 1970 года. Примечательно, что все европейские телевизионные программы, связанные со столкновением идей, построены по типу американской программы «Встреча с прессой». Не стоит и говорить, что в Европе модель американских программ тщательно «причесана» в соответствии с европейским потреблением. Я помню господина Помпиду во время его последней пресс-конференции в Соединенных Штатах, в конце его официального визита. Уязвленный многочисленными нелицеприятными вопросами относительно Израиля и поставок военных самолетов Ливии, он был явно застигнут врасплох, подавлен, расстроен и возмущен. С каждым новым вопросом выражение его лица словно говорило: «Ну, это уж чересчур!» Он напоминал боксера, который всю жизнь вел бой с тенью и вдруг получил в челюсть. Он был возмущен не самими вопросами, а *правом* журналистов задавать эти вопросы, а также тем, что они позволяют себе задавать их.

Приземлившись в аэропорту Орли после визита в США, Помпиду был встречен журналистами — на этот раз, слава богу, французскими, которые почтительно подставляли ему микрофоны (вероятно, чтобы не пропустить совершенно бессмысленного заявления).

« Господа, — сказал Помпиду, — вы, конечно, понимаете, что прежде всего я должен сообщить о моих впечатлениях Совету Министров, который собирается завтра утром ». Да, хорошо вернуться домой... Такой ответ был бы невозможен в Америке, ибо он скорее достоин собственника, чем возвратившегося из поездки государственного деятеля. К тому же и ответ совершенно абсурдный; можно было легко сохранить все то, что предназначалось для Совета Министров, и быть достаточно вежливым, чтобы сказать многочисленным согражданам, сидящим перед маленьким экраном, несколько слов о своем путешествии, а августейший елисейский конклав мог бы без всякого ущерба для родины поделиться привезенным сокровищем с пятьюдесятью миллионами французов.

Точно так же как существует граница (иначе говоря — разрыв) между странами развитыми и слаборазвитыми в экономическом отношении, существует и разрыв между странами информированными и малоинформированными. В них создаются два разных типа человечества. Первая революция в области информации установила свободу печати. До сих пор эта революция охватила лишь ограниченное число стран. Вторая революция в области информации установила свободу звукозрительных средств коммуникаций; пока что она распространилась на еще меньшее число стран. Сила звукозрительных средств информации, порожденная этой свободой, является единственным противовесом всесилию исполнительной власти, единственным источником, питающим и усиливающим традиционные средства парламентского контроля. И эта сила должна быть полной, иначе она не может существовать. Кроме необходимой защиты прав индивидуума на обращение к закону против средств информации — прав, которые должны быть исчерпывающими — и соблюдения положений закона о « равном времени », которые совершенно обязательны, любые ограничения, явные или тайные, наложенные на средства информации под пред-

логом предотвращения вреда, равносильны предписанию самоубийства в качестве лекарства при обычной простуде. Информация не должна быть ни «передовой статьей», ни морализированием, разве что такого рода воздействие заключено в самой информации. И первым предварительным условием свободы информации, как и любой другой свободы, должно быть ее обилие.

Когда французы говорят о телевидении, они зачастую спрашивают друг друга: «Вы видели вчера передачу?» Они не спрашивают: «Что вы вчера смотрели?» Чаще бывает только одна передача, а иногда и ни одной. В США статистические шансы на то, что два человека смотрели одну и ту же передачу, очень невелики. В крупнейших городах можно выбирать между восьмьюдесятью каналами. Таким образом, термин «американские средства информации» означает разнообразие. Когда в восемь часов вечера зрителю предлагается выбор между дискуссией по поводу противозачаточных пилюль, подробным анализом работы Верховного суда и путей апелляции, одночасовой передачей о десегрегации в штате Миссисипи, курсом диетологии, комедией и варьете, такого зрителя вряд ли можно назвать «рабом телевидения». Это скорее можно назвать блужданием по библиотеке.

В Нью-Йорке есть программы, предназначенные для глухонемых и ведущиеся на языке жестов. Есть программа для дошкольников «Сезамстрит» по так называемому образовательному каналу, которая показывает, что может значить телевидение для начального образования. Этот канал начал работать во время забастовки коммерческого телевидения и сразу же получил финансовую поддержку от Фонда Форда и от частных лиц. В его программах запрещена коммерческая реклама. Это показательный пример того, что может сделать частная инициатива, когда система гибка и свободна от монополий.

Поток информации в Соединенных Штатах свободен, насколько это только возможно, и там нет «управ-

ления новостями». Когда вице-президент Спиро Агню в ноябре 1969 года обрушился на американскую прессу и телевидение за их освещение новостей, некоторые европейцы, как обычно, немедленно сформулировали диагноз: возрождающийся фашизм. Имел ли господин Агню право говорить то, что он сказал, это особый вопрос, который я не обсуждаю. Но разница между его акцией и действиями господина Робера Пужада, бывшего тогда генеральным секретарем партии голлистов, заключается в том, что господин Агню не контролирует американское радио и телевидение (за исключением определенной возможности оказать иногда на них «давление), в то время как господин Пужад, бичуя «недостаточную объективность» ОРТФ[1], нападал на организацию, находящуюся под контролем его собственных политических друзей. Атака господина Агню была всего лишь выражением его личного мнения, тогда как атака господина Пужада — открытой угрозой.

Тот факт, что Спиро Агню — воплощение американского консерватизма — был недоволен характером подачи новостей двумя крупнейшими американскими компаниями (Си-Би-Эс и Эн-Би-Си), показывает, что изображаемая ими Америка не похожа на ту, какую представляет себе господин Агню. И этот факт трудно примирить с нашим европейским представлением о том, что американские информационные компании являются слугами финансового капитала и конформизма, что они обязаны представлять «сфабрикованную» версию новостей. На самом деле все американские проблемы находятся на виду у общества — на телеэкране: вьетнамская война (репортажи о зверствах, трагедия в Май-лай), страдания расовых меньшинств, преступность среди молодежи, взяточничество, загромождение городов, загрязнение окружающей среды, наркотики. Даже проблема наркомании в армии

[1] Французское радио и телевидение.

получает освещение и обсуждается, и давно не секрет, что американские солдаты курят марихуану и что когда их спрашивают, чего вы больше всего хотите, они обычно отвечают: наркотиков и мира.

Когда в Америке что-нибудь случается, средства информации сообщают все возможные детали: политические последствия скандального дела мафии в штате Нью-Джерси, незаконные пари во время бейсбольных матчей, финансовые махинации бывшего секретаря сенатского большинства Бобби Бейкера. Для прессы нет никаких «мистеров X». Даются имена, печатаются фотографии, сообщаются детали преступления, связанные с ним денежные суммы. В уже упоминавшейся серии программ о деятельности ФБР принимали участие бывшие агенты: они объясняли и критиковали отдельные операции, в которых нарушались права граждан.

Хотя телевизионные станции зависят от коммерческой рекламы как от источника средств, они сохраняют определенную независимость от рекламодателей. Одним из указаний на это может служить такой факт: когда еще разрешалась реклама сигарет (она запрещена с 1 января 1971 года), станции продолжали передачи, в которых объяснялся вред курения. Такое совершенно невозможно во Франции, где торговля табаком — государственная монополия. Другое доказательство — широкая известность молодого юриста Ральфа Надера, о котором знают в Европе главным образом по его книге «Опасно при любой скорости» и по его знаменитому конфликту с компанией «Дженерал моторс». В дальнейшем он обратил свое внимание и на другие вопросы, начиная от махинаций страховых компаний и кончая составом фарша в сосисках, и его усилия в некоторых случаях привели к изменениям в законодательстве. Когда Надер собирается сообщить что-нибудь важное о каком-либо продукте, телевизионные компании уделяют ему большое внимание, и чаще всего он появляется в программе новостей известного комментатора Уолтера Кронкайта (Си-Би-Эс). Если сообщения

Надера затрагивают интересы рекламодателя компании, последнему об этом сообщают; если же рекламодатель отказывается после этого сотрудничать с компанией, это его дело. Даже при таком положении вещей у получасовой программы Кронкайта есть длинный список желающих купить время под рекламу. В этом смысле — и в противоположность тому, что принято считать — рекламодатели нуждаются в Си-Би-Эс, а не наоборот.

Кроме коммерческой рекламы товаров, американское телевидение передает разного рода объявления и сообщения, предназначенные для того, чтобы информировать зрителей об их правах. Например, одна из рекламных передач рассказывает о существовании антидискриминационного жилищного законодательства и сообщает номер телефона в Вашингтоне, по которому можно бесплатно получить совет по интересующему вас вопросу в этой области.

Совершенно очевидно, что без телевидения никто не мог бы и представить себе размеров оппозиции вьетнамской войне, которая существует в Америке. Ни французский, ни британский империализм не оказывались перед лицом такого вызова в эпоху своего расцвета, перед каким оказался в наши дни американский империализм со стороны самих же американцев.

Часто приходится слышать, что даже если такая доступность информации и существует в Америке, то это не имеет значения, что американское общественное мнение эмоционально и эгоистично. Однако американская история последних лет доказывает противоположное. Мы слишком игнорируем тот факт, что впервые в мировой истории заграничная война — особенно колониальная экспедиция или война, которая ведется предположительно в интересах безопасности страны, — встречает могучую оппозицию внутри этой же страны. Обычно борьба за свободу и справедливость происходит, так сказать, на домашнем фронте и ведется в пользу народа страны, в которой эта борьба происходит. И обычно даже низшие классы разделяют империалисти-

ческие устремления правящего класса, особенно когда речь идет о колониальной войне. Один из наиболее поучительных уроков истории заключается в том, что страны, ревниво охраняющие свободы у себя дома, не очень-то критичны и чувствительны к нарушениям свободы других народов. Переход от внутренней демократии к демократии внешней (или, по крайней мере, к заботе о внешней демократии) — это гигантский шаг — и этот шаг Соединенные Штаты сделали первыми. То, что американцы смогли осуществить этот переход, является результатом свободы информации в их стране. Это означает, что был достигнут подлинный прогресс в деле отмены права совершать преступления во имя интересов внешней политики. Ни афинский империализм, ни колониальные авантюры англичан, французов и голландцев никогда не встречали существенной оппозиции. Если такая оппозиция вообще и существовала, то она ограничивалась отдельными интеллектуальными кругами правящих элит, то есть теми, кто был достаточно информирован, чтобы сознавать меру жестокостей, совершаемых во имя завоеваний. Национальное чувство никогда не проявлялось и не затрагивалось, когда речь шла об эксплуатации или уничтожении чужестранцев. Коммунистическая партия Франции, понимая это, смотрела сквозь пальцы на возобновление французским правительством контроля над колониями после Второй мировой войны. После 1947 года, когда коммунисты были вынуждены выйти из состава правительства, оппозиция, какой бы она ни была малоэффективной, концентрировала свое внимание вокруг общих проблем «холодной войны», а не на проблемах Индокитая, Мадагаскара и Северной Африки. Не было ни одного достаточно серьезного протеста, который повлиял бы на развитие событий, или хотя бы какого-нибудь внутреннего протеста против несправедливостей, вызываемых такой внешней политикой. Точно так же обстояло дело во всех странах.

Моратории и антивоенные демонстрации в Соединенных Штатах — первые массовые явления такого рода, и они особенно важны, потому что в них участвовали люди всех возрастов и всех классов. Во время войны в Алжире французы тоже устраивали демонстрации, но в них участвовали только крайне левые; точнее говоря, их организовывали газеты крайне левых и левоцентристов, но они так и не получили поддержки народа. Даже молодежь, за исключением немногочисленных студентов, не взбунтовалась. Сопротивление призыву в армию было незначительным и общественное мнение реагировало на такое сопротивление отрицательно. В Соединенных Штатах десятки тысяч молодых людей уклонились от призыва; вместо общественного осуждения они получают помощь и поддержку. Любое расследование в Канаде или в Швеции может показать размах и организованность этого движения, возникшего в 1964 году. Стало уже повсеместным явлением, когда молодые люди возвращают призывные повестки или сжигают их на улицах.[2]

Никогда до сих пор «священное эго» нации не становилось предметом противоречий, особенно когда нация находится в зените своей мощи. Трудно заранее определить многочисленные последствия этого явле-

[2] Не все молодые американцы получают призывные повестки. Довольно забавно, что в некоторых районах страны родителям не обязательно регистрировать рождение ребенка, в силу чего армия не всегда может найти человека, чье рождение не зарегистрировано, если он сам не зарегистрировался для призыва в возрасте восемнадцати лет. Таким образом, наблюдается своего рода «молчаливое уклонение» от военной службы, которое трудно определить количественно, и это обнаруживается не сразу, так как по закону для уклонившихся от службы в армии существует пятилетний срок давности, по истечении которого преследование невозможно. Следует также учитывать довольно широкое толкование права не служить в армии с оружием в руках по моральным убеждениям. Все это имеет большое политическое значение.

ния, потому что критика империализма и национализма впервые имеет место в самом источнике империализма и национализма, и она исходит от тех, кто в состоянии обратить ее в свою пользу. Прочие виды критики бесполезны с практической точки зрения. Всегда имеется оппозиция к империализму других, но эти другие меньше всего считаются с такой оппозицией. Труднее всего быть противником своего собственного империализма. Весь мир был против британского империализма во время англо-бурской войны и против французского империализма во время алжирской войны, но помимо влияния этой оппозиции на отдельные группы, не пользовавшиеся ни поддержкой, ни популярностью, единственным результатом ее деятельности было поощрение шовинизма в обеих странах.

Мы пока не обсуждали вопроса о том, является ли такая массивная внутренняя и не «элитная» оппозиция патриотическому империализму следствием доступности информации. Беспрецедентная сила и образ действий оппозиции в Америке представляются результатом как свободного потока информации, так и причин, обусловивших этот поток. В основе американской демократии лежит идея о том, что каждый может улучшить свое положение, но никто не имеет права пользоваться для этого преимуществами, добытыми нечестным путем. Этот принцип включен в юридическую систему в форме антитрестовских законов, которые вовсе не так смешны, как это считают европейцы. Он убедительно подчеркивает, что ни государство, ни заинтересованные лица или группы лиц, ни учреждения, ни армия, ни промышленность, ни кто-либо другой не имеют права отказаться объяснить свои действия или скрыть информацию, какими бы достойными ни были их цели. Это особенно верно в отношении деятельности групп или отдельных лиц, которых подозревают в нанесении ущерба не только общему благу (такое понятие само по себе ничего еще не озна-

чает), но и благополучию тех или иных групп населения. Придерживаясь этого принципа, американцы никогда не допускали закрытия газет правительством, прямую или косвенную цензуру книг. Сегодня только в одном штате существует предварительная цензура кинофильмов, и то эта цензура не носит политического характера.

Федеральная структура Соединенных Штатов, разнообразие их законодательства и отсутствие унифомизма моральной атмосферы в различных частях страны беспредельно умножают средства борьбы с угнетением и нетерпимостью, причем таких средств здесь куда больше, чем в странах с централизованным управлением. Аргумент вроде того, что что-то является «вредным для вооруженных сил страны и их морали» (очень часто используемый во Франции даже в мирное время), совершенно не известен в Соединенных Штатах. Некоторое время назад, после успеха фильма «М.А.С.Ш.», один из законодателей внес законопроект, запрещающий использование военной формы в американских кинофильмах и театральных постановках, высмеивающих вооруженные силы. Этот законопроект никто не принял всерьез, даже комиссия конгресса, которой он был представлен.

В Америке можно снимать и показывать такие фильмы, как «Доктор Стрэйнджлав», «М.А.S.Н.» и «Кэтч-22», в которых война, милитаризм, священники, произвольные и эксцентричные решения, принимаемые на высшем уровне, высмеиваются с той же бескомпромиссностью, которая присуща сатире Вольтера. Почти во всех других странах, включая и половину европейских стран, и особенно Францию, такие фильмы не пошли бы дальше сценария. Восемь лет спустя после войны в Алжире фильм Дж. Понтекорво «Битва за Алжир», получивший премию «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале 1965 года, был в сорок восемь часов изъят из проката во Франции, а телевидение по требованию службы президента

республики воздержалось от показа даже короткого фрагмента из этого фильма. Точно так же было бы невозможно появление в большинстве стран мира, и особенно во Франции, фильмов о внутренних проблемах, таких, как например, американские фильм «Medium Cool» о жестокостях полиции во время национального съезда Демократической партии в Чикаго в 1968 году или фильм «The Strawberry Statement» о расправе со студентами, захватившими здание университета. Удивительно наблюдать, как французские критики предвзято судят об этих фильмах, считая их посредственными и банальными. Они, несомненно, знают, что французскому продюсеру было бы очень трудно, если не невозможно, сделать подобный фильм о событиях мая 1968 года во Франции.

Во Франции государство не является единственным цензором, но ему это делать сподручнее, чем кому-либо другому. Тем не менее, любая гражданская группа с отдаленным намеком на влияние старается подражать в этом отношении государству. Фильм «Битва за Алжир», например, был запрещен по требованию людей, переселившихся из Алжира во Францию. Бывшие воспитанники военной академии Сомюр требуют и добиваются запрета на телевизионную передачу, в которой идет речь об одном событии из истории академии. Крестьяне объявляют «нетерпимой» программу о сельском хозяйстве «Прощай, мак» и подвергают таким преследованиям автора, что он больше уже не может найти себе работу в журналистике. Благонамеренные граждане добиваются отмены спектаклей комедии «Все на сцену» за ее антиклерикальные тенденции, запрета на фильм «Монашка», являющегося очень скромной экранизацией повести Дидро. Бизнесмены приморских курортов протестуют против публикации доклада о загрязнении пляжей, утверждая, что доклад совершенно ошибочен. Любопытно отметить, что публикация подобного доклада в Соединенных Штатах дала возможность штату Калифорния в

июне 1970 года возбудить судебное дело против вооруженных сил и против подводной добычи нефти в Санта Барбара. Точно так же усиливается контроль за рекламой сигарет и за продажей игрушек для детей, имитирующих оружие. В противоположность тому, что принято думать, свобода информации в Америке нередко затрагивает прибыли. Без такой свободы деятельность Ральфа Надера была бы так же невозможна в Америке, как и в Европе. В одних странах наиболее важное дело — защита интересов потребителя, в других — защита интересов производителя и эксплуататора. Во Франции дело дошло даже до того, что владельцы отелей требуют отмены сообщений прогнозов погоды, если предвидится дождь в период отпусков. Нам очень трудно понять, что смысл информации — приносить пользу информируемому, а не синоптикам или тем, о ком идет речь в информации.

Эти простые различия в информации служат настоящей демаркационной линией между двумя типами цивилизации. И мне представляется, что только у одной из этих цивилизаций есть будущее. Другая, вероятно, осуждена погрузиться в поток ошибок, которые никогда не будут осознаны, пока не станет слишком поздно, когда за ошибку уже будет заплачено дорогой ценой, а сама ошибка окажется непоправимой.

Я видел такого рода пример в декабре 1969 года на окраине Парижа, где несколько африканских рабочих отравились углекислым газом. По всей видимости, они пытались отапливать свои лачуги любым топливом, какое только могли найти, потому что газ и электричество были отключены домовладельцем. Вспоминаю разговор по этому поводу в 1968 году с известным телевизионным репортером, который в то время вел ежемесячную передачу «Пять колонн», а сейчас работает в частном агентстве. Он рассказал мне, что отказался от попыток вести передачи на внутренние темы, потому что его работа подвергалась цензуре. Так, когда он работал над репортажем о положении иност-

ранных рабочих во Франции, достаточно было телефонного звонка голлистского депутата, в округе которого было немало таких рабочих, не имевших, конечно, избирательных прав, чтобы репортаж отменили. Этот эпизод из практики журналиста дает известное представление об идеалах гуманизма некоторых людей, стоящих у власти. Вполне возможно, что если бы репортаж об иностранных рабочих во Франции был показан в 1968 году, африканские рабочие, погибшие зимой 1969 года, были бы сегодня живы. Нам «потребовались» эти трупы, прежде чем разразился скандал по поводу условий жизни иностранных рабочих во Франции. В этом — фундаментальная разница двух типов информации: в одном случае свободная информация позволяет найти решение проблемы до того, как происходит катастрофа, в другом — цензура даже не начинает поисков решения до наступления катастрофы. Я не собираюсь утверждать, что свободное распространение информации всегда достаточно, чтобы предупредить катастрофу; но совершенно очевидно, что оно помогает уменьшить ее размеры и влияние. После сообщений об инцидентах, подобных упомянутому выше, политические деятели всегда ощущают потребность «что-то сделать». Эта же потребность могла бы у них возникнуть, если бы они прочли репортаж о том, в каких условиях вынуждены жить иностранные рабочие. Такая программа могла бы, вероятно, поколебать их покой, но это не такая уж высокая цена за человеческие жизни.

Конечно, нам, французам, только и остается, что утешаться сознанием невозможности осуществлять свободу информации в стране. Вероятно, мы даже можем убедить себя, что нам вообще такая свобода не нужна, сославшись на отрицательную роль американского телевидения при разрешении как данной проблемы, так и проблем негров и пуэрториканцев в Америке. Такая тактика дает возможность не думать о трех-четырех миллионах иностранцев, живущих у нас

в стране; они выполняют черную работу и являются мишенью расизма французских рабочих. Факт остается фактом, что ни один народ, кроме американцев, не признал собственной вины за те преступления, которые были совершены им самим или во имя него. Немцы отказались признать себя виновными в преступлениях нацистов, а англичане, французы и итальянцы — за совершенное во время колониальных войн.

Воспитание белого человека со времен греческих городов-государств и до наших дней направлено на оправдание преступлений, совершенных во имя национальной чести. Противодействия этим преступлениям крайне редки; они всегда были минимальными и не оказывали влияния ни на общую политику, ни на общественное мнение. За всю историю человечества Соединенные Штаты стали первым исключением из этого правила.

Не может быть, чтобы свобода информации ничего не могла исправить в обществе, в котором на первых страницах газет и журналов можно публиковать снимки о жестокостях его солдат во Вьетнаме, или показывать по телевидению результаты этих жестокостей, или передавать интервью с преданными военному трибуналу за военные преступления солдатами, офицерами и генералами. Никогда еще ни в одной стране не публиковалась подробная информация о преступлениях против гуманности, не осуществлялось наказание лиц, ответственных за эти преступления. Вероятно, наличие свободы информации и было тем фактором, который позволил Америке стать исключением из правила. Наше собственное «молчаливое большинство» во Франции никогда не позволяло предавать гласности такие инкриминирующие сведения. Вероятно, наше «молчаливое большинство» сильнее «молчаливого большинства» Америки (если только это последнее действительно большинство). Во всяком случае, остается фактом, что Америка — первая страна, где во время войны противники этой войны оказались

достаточно сильными, чтобы вызвать перемену в старинном принципе, согласно которому государственные интересы оправдывают любое действие.

Когда информация достигает уровня, на котором оказываются возможными такие результаты, повторение избитых клише о «формальных свободах», «отчуждении» по вине телевидения или о «репрессивной терпимости» становится показателем старческого упадка других стран. Американское освещение новостей всегда драматично, до унизительности проникнуто чувством вины и поэтому эффективно. Вероятно, поскольку оно эффективно (несмотря на вызываемые им кризисы и ненависть), его поддерживает коллективное сознание нации против тех, кто с ним борется, а может быть — бессознательно — даже и те, кто выступает против него. С одной стороны, консерваторы понимают, что в эпоху массовых средств коммуникаций информация доходит до всех и больше не носит абстрактного характера, оказывая необратимое революционизирующее воздействие. Поэтому консерваторам приходится принимать это во внимание. С другой стороны, они понимают, что без свободы информации проблемы Америки приведут к катастрофе. Их инстинкт самосохранения проявляется сильнее, чем их консервативность. В результате отпадает необходимость в академических спорах о том, должна ли информация быть «ограниченной», и о злоупотреблении информацией. Информация, уже в силу своего характера, непредвидима, а потому и не может контролироваться. В результате остается только один способ предотвращения искажения информации средствами ее распространения — сделать доступным как можно большее количество информации. Что касается «объективности», то наиболее известные авторитеты Франции говорят нам, что «этого никто не знает точно». Поэтому оставим педантам философствовать по этому поводу. Ведь всем известно, что́ является противоположностью объективности, и этим можно ограничиться.

Показ восстаний по телевидению подстрекает к восстанию. Показ протеста подстрекает к протесту. Вудсток подстрекает к Вудстоку. Показ молчаливого большинства подстрекает только к молчанию. Враги свободной информации говорят, что только кризисы, расизм, нищета, загрязнение окружающей среды являются новостями. И конечно, они частично правы. Кризисная ситуация — это новости. Всякая новость является «горячей» информацией; наверняка кто-то сгорит или обожжется. Ни одна новость не покажется интересной, если она не содержит в себе элемента неизвестности или, по крайней мере, не вызывает неудовольствия или раздражения у какого-нибудь представителя власти. В результате «плохих» новостей значительно больше, чем «хороших». Поэтому такие новости автоматически действуют в качестве раздражителей. Больше того, нет даже возможности выбирать между этими постоянными беспокойствами и цензурой. Недавно журналист из Хартфорда предложил бывшему вице-президенту Спиро Агню издавать газету, которая печатала бы только хорошие новости и носила бы такое же название: «Хорошие новости». Журналист предложил также, чтобы Спиро Агню сам и вложил деньги в это предприятие. Это г-н Агню отказался сделать; как и все люди, он знал, что хорошая информация состоит из плохих новостей.

Когда мы говорим, что познание правды все возрастающим количеством людей может не иметь положительного влияния на ход исторических событий, мы тем самым утверждаем, что революция невозможна. Лично я убежден в обратном: только неограниченная информация, оказывающая столь большое влияние с самого начала века, века массовых средств распространения информации, может создать тот синтез социальной революции и демократической свободы, который уже многократно, хотя и неудачно возникал в прошлом столетии. И поэтому, когда я слышу, будто в американском телевидении нет ничего, кроме

рекламы, я подозреваю, что тем, кто так говорит, не нравится свобода американского телевидения, подобно которой нет нигде, кроме как на Би-Би-Си. Что же касается французского телевидения, то сегодня оно проигрывает по всем статьям, потому что у нас осуществляется политический контроль даже за телерекламой.

В Европе и в Америке по-разному оценивают вступление человечества в век радиосвязи. За последние тридцать лет мы в Европе так и не смогли извлечь из нее пользу и ничего нового в нее не внесли. В отличие от европейцев, дающих почти единодушно отрицательную оценку массовым средствам информации, американские социологи предприняли значительные усилия, чтобы в них разобраться. Они смогли увидеть в них источник революционной энергии, созидательные элементы информационной среды, предназначенной для создания нового человека, нового вида воспитания, новых общественных отношений и новой психологии. Дэвид Рисман, автор социологического исследования «Одинокая толпа», первым попытался описать этого нового человека. Маршалл Маклуан, исходя из анализа Рисмана, попробовал доказать, что распространение средств информации, превращение их в массовые средства не только составляют процесс одной из решающих революций, которые когда-либо знал мир, но уже сами по себе являются революцией и определяют ее. Нет слов, тезис спорный; но это соображение не должно мешать нам признать, что Маклуан виртуозно объясняет суть средств массовой информации и их влияние на нас.

Судьба книг Маклуана в Европе — пример удивительного противоречия. С одной стороны, в Европе они не имели такого широкого успеха, как в Америке. С другой стороны, значительное число интеллектуалов бьет тревогу по поводу того, что широкая публика заражена разлагающими глупостями Маклуана.

Первое из этих явлений объяснить довольно легко.

Не следует удивляться тому, что в Европе Маклуан не считается народным оракулом в той же степени, как по другую сторону океана. Центральная тема его работ — человек, преобразованный электронными средствами коммуникаций — волнует нас значительно меньше, чем американцев. Каким бы ни был рост аудитории телевидения во Франции (почти 13 млн. телеприемников по сравнению с 700 тысячами в 1958 году) и какое бы значение ни имела политическая проблема монопольной принадлежности телевидения государству, никто не может всерьез утверждать, что французы живут в эпоху аудиовизуальной цивилизации. Большинство французов может принимать только одну из двух программ[3], и ни одна из программ не имеет больше трех-четырех часов вещания в день. Могли бы мы сказать, что живем в эпоху «газетной» цивилизации, если бы у нас была всего четырехстраничная ежедневная газета? Некоторые наши европейские соседи имеют более широкий выбор телепрограмм, более длинный телевизионный день. Но даже они не приближаются к силе воздействия восьми, десяти или двенадцати программ, существующих в Америке или в Японии и работающих от восемнадцати до двадцати четырех часов в сутки.

Больше того, наши европейские методы глубоко архаичны. Например, в использовании телевидения для учебных целей мы приняли те же методы, которые существовали и до телевидения. Мы полагаемся на слова, на устное объяснение и почти не пользуемся зрительными образами. То же самое относится к освещению новостей, во время которого зритель слушает объяснения, но не видит происходящее. Поэтому совершенно ясно, что европейцам не так уж необходима философия «человека электронного века». Во всяком

[3] В настоящее время нормальный теледень во Франции длится 5-6 часов. Введена третья программа, в результате чего большинство телезрителей имеет возможность принимать две программы, из которых одна — региональная, а другая — центральная.

случае не больше, чем жителю глухой сельской провинции необходимо погружаться в литературу о проблемах городов-гигантов.

Более любопытна реакция интеллектуалов на работы Маклуана. Их крики возмущения, их ненависть и вопли ярости, их проклятья настолько непропорциональны сути дела, что приходится за всем этим искать что-то иное, кроме простого чтения книг Маклуана. Конечно, можно дискутировать о том, оригинален ли Маклуан или банален, серьезный ли он человек или шутник, все ли в его работах представляет интерес. Между тем книга «Понимание средств коммуникаций» обсуждается с таким ожесточением, словно автор ее чуть ли не сам Гитлер.

В чем, собственно, состоят идеи Маклуана? Их можно разделить на две группы. Во-первых, это незначительное число тезисов относительно постепенной замены печатного слова образом, о тех изменениях, которые новые средства коммуникаций вызывают в восприятии, и даже об обществе, возникающем в результате распространения этих средств; в целом — обо всех эффектах, возникающих в силу того, что книги перестают быть основным средством информации. Эти тезисы являются ценным элементом в рассуждениях Маклуана, связанных с теорией «аудиовизуального человека». Как теория она может быть верной или неверной, но это по крайней мере попытка определить то новое, что можно ожидать от такого человека (не беспокоясь о том, будут ли автору этой теории аплодировать или его освистают).

Вторая группа его идей состоит из довольно поверхностных исторических концепций, иногда неточных обобщений и серьезных ошибок. Последние, безусловно, должны быть осуждены. Но достаточно ли этого для враждебного отношения европейской интеллигенции? Вряд ли. Когда вполне сравнимые с этим абсурдности были обнаружены в работах Ницше, Хейдеггера, Тейяра де Шардена и Мальро, считалось

дурным тоном даже упоминать о них. Оценка философской системы на базе стандартов точности, принятых в истории и науке, обычно считается смехотворным сайнтифизмом. Почему же одному Маклуану отказано в праве на ошибку?

Иногда Маклуан высказывает какие-то важные вещи в виде шутки; удивительно неприятно видеть, как европейские интеллектуалы понимают его буквально и комментируют то, что сам Маклуан называет «ракетами» и что совершенно очевидно носит провокационный характер.

Например, Маклуан хладнокровно заявляет, что американцы никогда не поймут математики, пока эту науку не будут преподавать по телефону. Он говорит, что внешний вид европейских автомобилей так уродлив, словно конструкторы представляли их себе не в виде предметов, на которые предстоит смотреть, а как нечто, вроде свитера, надеваемого или накидываемого на спину. Он определяет средство информации как кусок мяса, принесенный грабителем с тем, чтобы отвлечь сторожевого пса; он говорит, что воздействие кино как средства информации не имеет никакой связи с содержанием фильма. Нужно быть начисто лишенным чувства юмора, чтобы ошибиться в намерениях Маклуана во всех приведенных выше примерах.

Трудно понять, почему некоторые интеллектуалы считают идеи Маклуана относительно аудиовизуального характера культуры нашего времени вредными или реакционными. Его идеи о будущем образования, о любви, его взгляды на войну, демократию, на проблему черных, на справедливость в международном масштабе никак нельзя назвать реакционными, даже если в них и есть известная доля пессимизма.

В итоге трудно понять тот ужас, с которым европейские интеллектуалы относятся к идеям Маклуана, если только это не паника среди власть имущих, вызванная появлением автора, который пришел к выводу, что в мире, где неграмотные составляют

шестьдесят процентов, господство печатного слова пришло к своему закономерному концу. Тот факт, что книги больше не могут быть диктаторами, еще не означает, что книги исчезнут; это значит, что печатное слово приобретет новое и, вероятно, более точное назначение в качестве одного из средств общения.

Революция в области информации одновременно есть революция политическая и революция интеллектуальная. Она ставит под вопрос и власть и культуру. Она оспаривает различие между властвующими и подвластными, между интеллигенцией и массами. Не может считаться революционером тот, кто хочет отказаться от политической революции и поддерживать только интеллектуальную революцию.

Массовые средства информации прежде всего доказали, что они являются не только средствами передачи, но и способны вызывать реакцию людей, и не пропагандой, а самой информацией. Это положение, банальное само по себе в Соединенных Штатах, ощущалось во Франции лишь в течение нескольких недель в мае 1968 года. В то время средства информации были частью событий, и они влияли на эти события. В Соединенных Штатах телевидение осуществляет своего рода «перемешивание» общества, которое без этого могло бы быть разрозненным, но которое с помощью телевидения знает все свои слои, вплоть до интимных подробностей. Прямые репортажи из студенческих городков, куда врывается полиция, показ мятежей негров — все это не только позволяет «информировать» население, но и вовлекает его в эти события, превращает зрителя в участника; такой зритель не только продукт собственного жизненного опыта, он как бы «включается» в происходящее.

Эта новая, активная функция массовых средств информации вселила страх в сердца всех спиро агню мира, людей, которые почти повсеместно осуществляют монопольный контроль над телевидением. И им есть чего бояться.

14. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ– ДЕТОНАТОР РЕВОЛЮЦИИ

Если перечислить все «современные болезни человечества», то можно сформулировать программу необходимой ему революции: устранение войн и империалистических отношений путем ликвидации государств и понятия государственного суверенитета; устранение всякой возможности установления внутренней диктатуры; равенство во всемирном масштабе в областях экономики и образования; регулирование рождаемости также во всемирном масштабе; полная идеологическая, культурная и моральная свобода, предназначенная, с одной стороны, для обеспечения благополучия личности при наличии независимого и плюралистического выбора, а с другой стороны — необходимая для полного использования созидательных возможностей человеческого разума.

Программа эта явно утопична, и все говорит против нее, хотя она и необходима для того, чтобы человечество уцелело. Замена одной политической цивилизации другой, как предусматривает эта программа, происходит, по-моему, сегодня в Соединенных Штатах. И, как все великие революции прошлого, эта замена может быть успешной, на мой взгляд, только если от страны-прототипа она распространится на весь мир.

Условия, которые делают Соединенные Штаты страной-прототипом, следующие: экономическое

процветание и продолжающийся рост благосостояния, без чего все революционные проекты бессмысленны; техническое развитие и высокий уровень фундаментальных исследований; устремленность культуры в будущее, а не ориентировка на прошлое; революция в поведении и обычаях, утверждение свободы и равенства людей; отказ от авторитарного контроля и разнообразие созидательных инициатив во всех областях, особенно в искусстве, в образе жизни, в области чувств, сосуществование многочисленных подкультур — дополнительных или альтернативных.

Именно из-за отсутствия второй группы условий, как я уже отмечал выше, я не верю в революционные возможности, например, японского общества, по крайней мере, в настоящее время. Япония отвечает первой группе условий, но существование старых феодальных авторитарных методов на предприятиях и в политике исключает вторую группу условий преобразования общества, способную заинтересовать и другие общества: отказ от авторитарной узды и освобождение созидательных сил новых образов жизни, новых форм ощущений и морали.

Здесь мы видим, что существует связь между отдельными аспектами революции, в результате чего отсутствие одного из условий делает остальные недостаточными. Революция политическая, социальная, техническая и научная, революция в культуре, в обычаях, революция, ведущая к переоценке ценностей, революция в международных или межрасовых отношениях, — это такие революции, которые либо должны произойти все вместе, либо не произойти вообще. И американское общество является единственным, в котором я вижу их общее развитие, их органическую связь, как если бы они составляли одну общую революцию. В других же странах все эти революции отсутствуют, потому что отсутствие одной, двух или трех революций превращает остальные лишь в нечто желаемое.

Наконец, необходимое средство для реализации

этих революций и их общего условия — экономического роста в сочетании с процветанием — это политическая свобода, которая является результатом Первой мировой революции (со всеми ее современными последствиями), полная свобода информации на уровне массовых средств. Эту последнюю я и рассматриваю раньше других, так как она сегодня — первоначало всей политической свободы.

Свободы, завоеванные Первой революцией, необходимы, так как без них любой современный авторитарный режим достаточно силен, чтобы подавить всякое восстание или мятеж, за исключением поражения во внешней войне (поражение, которое пережил Насер, не привело к его падению только из-за интеллектуальной отсталости, в которой он в течение двадцати лет удерживал египетский народ). В сегодняшних полицейских государствах не существует никакой революционной возможности без военного переворота; прежде всего из-за практической невозможности собрать силы протеста, а также из-за недостаточной информированности, которая оглупляет даже революционеров в этих странах. Есть множество примеров, когда сменяющие друг друга группы, если они в один прекрасный день приходят к власти, оказываются столь же реакционными и некомпетентными, как и их предшественники.

В конце концов наилучшие шансы на совершение подлинной революции связаны с такими условиями конституционной терпимости, при которых силы перемен могут добиться внушительных успехов, не прибегая к гражданской войне. Иными словами, чем больше способность существующего законодательства ассимилировать перемены, тем выше шансы революции. И наоборот, в авторитарных государствах очень рано проявляются насилие и разлом, и шансы на успех там минимальны. В противоположность существующим клише революционной романтики, это не признак силы, а признак слабости, заставляющей сжечь собственный дом, чтобы избавиться от муравьев в шкафу. Иногда

насилие и неподчинение приносят более ощутимые результаты, чем те, что возможны при использовании конституционных прав, но единственный значительный революционный результат это тот, который непреходящ. Даже самое благородное начинание, как например, Парижская Коммуна, утратило все свое значение для будущего (кроме сентиментального), как только оно потерпело фиаско. Из этого следует сделать вывод: чем больше перемен может ассимилировать дух закона без изменения его буквы, что неизбежно ведет и к изменению самого закона, тем больше выигрыш. Поэтому, чем больше условий для классического либерализма, тем глубже, разнообразнее и плодотворнее по своей созидательной импровизации революционное действие.

Эти конституционные возможности, то есть — свобода, существуют в Соединенных Штатах в значительно большей степени, чем в других странах. Именно этот аспект я хочу подчеркнуть прежде всего, а затем проанализировать основные глубокие изменения, которые вызвали и вызывают эти возможности, потому что революция измеряется не тем, что сделано, а тем, чего нельзя и что можно сделать.

15. ПРАВА И СРЕДСТВА

Исследование американской действительности почти всегда требует двойного сравнения: относительно предрассудков антиамериканизма и относительно тех, кто выступает в качестве прогрессивной оппозиции в самой Америке. Что касается первого, то очень редко дела обстоят так плохо, как их представляет традиционный антиамериканизм. Если же исходить из позиции самого американского общества и его проблем, то критерии меняются и критика становится — вполне оправданно — более непримиримой.

Это неизбежно ведет к раздвоенности отношения наблюдателя (кем я и являюсь), заставляет его протестовать против тенденциозной манеры представлять Америку и, следовательно, защищать ее от консервативного мнения. С другой стороны, приходится постоянно принимать во внимание те подрывные силы, которые действительно существуют в Америке, и причины, объясняющие и оправдывающие их существование. Всякая революционная критика, конечно, соответствует содержанию революции. Она находится на более высоком уровне, чем цивилизация охваченного революцией общества. В мае и июне 1968 года чехи не понимали, что французские студенты восстали против де Голля. В Варшаве вообще отказывались верить приехавшим из Парижа, чьи рассказы объявлялись клеветнической

пропагандой. Однако и чехи и поляки, веря или не веря в то, что восстание действительно имеет место, были вполне способны понять относительный характер всякого революционного действия. Другими словами, они знали, что «истеблишмент» может казаться крайне репрессивным в одной стране, а в другой вызывать зависть.

Такое понимание народы Европы и третьего мира не распространяют на Соединенные Штаты. Это происходит оттого, что их собственные симпатии наталкиваются на непреодолимое препятствие: необходимость признать тот факт, что американцы одновременно более цивилизованы, демократичны, революционны, в большей степени новаторы, чем многие другие народы. Если русский осуждает органичения свободы во Франции, учитывая ее историю, культуру и справедливые чаяния ее народа, то он совершенно прав; если же он голосом, полным жалости, объявляет, что *по советским критериям* французское правительство осуществляет диктат, то это очевидный абсурд.

Эта позиция превосходства по отношению к Соединенным Штатам широко распространена, и даже наиболее активные приверженцы левого движения — если они честны и не нуждаются в том, чтобы кого-то обвинять в собственных неудачах — вынуждены защищать традиционную Америку хотя бы для того, чтобы подчеркнуть самобытность революционного движения, атакующего эту традиционную Америку. По результатам, которых достигло это революционное движение в Америке, можно судить, что оно действует на более высоком уровне, чем революции, имеющие место где-либо еще. Большинство этих других революций стремится достичь того, что должно было быть достигнуто Первой революцией, либо же это псевдосоциальные революции, потерпевшие поражение, а затем обратившие свое поражение в тоталитаризм; иная же революция просто обращена в прошлое, как во Франции, где она направлена против консервативных сил реак-

ции, и цель ее — время от времени напоминать этим силам, что им лучше не заходить слишком далеко.

В большинстве стран, где когда-либо был демократический строй, революцией называется вовсе не переход от общества, созданного Первой революцией, ко Второй революции, которая вносит новые элементы. Это по большей части партизанская операция, предназначенная для завоевания утраченных достижений Первой революции, то есть для предотвращения полной ликвидации либеральной демократии режимом полицейского государства и замены ее обществом, в котором не будет ничего социалистического. Европейские революционеры часто забывают, что такого рода партизанская операция не нужна в Америке. Либеральная демократия сохранилась там полностью, и революционерам этой страны не нужно тратить времени на отвоевывание права продавать на улицах газеты левого толка. Они могут все свое внимание уделять проблеме достижения следующего революционного этапа.

Для душевного покоя большинству людей необходимо верить, что самая могучая страна мира чуть ли не самая реакционная и что реакция в наших собственных странах — отпрыск американского империализма.

Отсюда следуют самые невероятные глупости. 4 июля 1970 года одна французская радиостанция передала следующую новость: американский журналист зачитывал на улице прохожим выдержки из Декларации независимости в день ее годовщины. Затем он спрашивал мнение о прочитанном. Ему отвечали, что документ, несомненно, является коммунистической пропагандой, а может, анархистским или радикальным манифестом, либо документом движения диссидентов, или же что он, по меньшей мере, составлен «Черными пантерами», и кто бы ни был его автор, место ему в тюрьме.

Если обратиться к самой Декларации независимости от 4 июля 1776 года, то уже в самом начале ее ясно говорится об Америке, как о группе английских коло-

ний; затем перечисляется список претензий этих колоний к английскому королю Эдуарду III — от неоправданного присутствия английских войск в колониях до введения там непомерных налогов. Она заканчивается провозглашением конституционной независимости «Соединенных Штатов Америки». Короче говоря, речь идет об исторически настолько точно определенном документе, что спутать его с современным анархомарксистским манифестом представляется невероятным. Этот опрос, если только он не выдумка, не имеет сколько-нибудь существенной социологической ценности. Но дело в том, что эту историю подхватили французские газеты и журналы уже на следующий день, и в конце июля один из моих друзей, сдержанный и обычно хорошо информированный человек, спокойно мне заявил, что в наше время подавляющее большинство американцев отвергает Декларацию независимости. А это в свою очередь может означать лишь одно: американский народ готов присягнуть британской короне! В этой чепухе есть и своя цель. Она служит утешением в стране, где нарушение конституционных прав — повседневное явление, хотя Франция в этом отношении лучше многих стран.

Даже когда новости менее серьезны, все равно в их освещении проявляется тенденциозность. Комментарии обычно подчеркивают «фашистские» аспекты ситуации и всячески преуменьшают демократические черты. Например, в июле 1970 года Никсон подписал закон, направленный против преступности, который в определенных случаях предусматривает превентивное заключение и обыск в доме арестованного. Пресса Европы и Латинской Америки немедленно начала трубить об «американском фашизме» и о сползании к режиму полицейского государства. Однако у этого закона есть некоторые особенности, о которых не писала иностранная пресса. Начнем с того, что прежде предварительное заключение в Соединенных Штатах не было известно. И это должно представ-

лять определенный интерес для граждан тех стран, где подобная мера, хотя и не предусмотренная законом, настолько распространена, что практически стала нормой. Кроме того, предварительное заключение, предусматриваемое законом в целях борьбы с преступностью, совсем не похоже на то, что существует во Франции; это — в ятие под стражу преступника, находящегося на испытании и уже осужденного за убийство или нападение, а теперь совершившего новое преступление; его держат в заключении до суда, а также в том случае, если он при нан опасным преступником, способным на рецидив. Следует при нать, что для страны, в которой из года в год растет число насильственных преступлений, это довольно сдержанная форма предварительного заключения, и распространяется она на ограниченное число случаев. Ничего общего с положением во Франции, где в ходе примерно 70 тысяч ежегодных расследований выдается 60 тысяч ордеров на арест в противоречии с законом, который должна применять власть. Французский закон ясно устанавливает, что предварительное заключение допускается только тогда, «когда есть причины считать, что обвиняемый может попытаться скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить улики, совершить новый проступок или нарушить общественный порядок». Иначе говоря, этот неприменяемый закон, будучи применен, освободил бы девять из десяти человек, находящихся в предварительном заключении. Этот закон аналогичен новому американскому закону, который преподносится нам как фашистский. Французский закон даже более жесток, чем американский, поскольку последний применяется лишь к рецидивистам. Что же касается права на обыск «без предупреждения», то по американскому закону оно обусловлено предъявлением специального ордера и предназначено для борьбы с торговлей и транспортировкой наркотиков. На закон Никсона против преступности, вполне естественно, набросилась оппозиция Америки, так как чувстви-

тельность к гражданским правам в Соединенных Штатах значительно выше, чем в других странах. Но меры и юрисдикция, связанные с данным законом, который действует пока только в федеральном округе Колумбия и который неприменим в масштабе всей страны до тех пор, пока за него не проголосуют пятьдесят парламентов пятидесяти штатов, остаются далекими от того, что практикуется почти всеми странами мира в этой области.

Два наиболее известных из последних политических процессов, имевших место в Соединенных Штатах, это процесс «Чикагской семерки» и процесс «Черных пантер». С юридической точки зрения они прошли совершенно обыденно. Президенту Йельского университета Брюстеру было вполне достаточно заявить, что, по его мнению, «очень сомнительно, чтобы „Черные пантеры" могли рассчитывать в нашей стране на беспристрастный суд», как их шансы именно на беспристрастность судебного процесса значительно улучшились. Общественности были представлены сведения о полицейских преследованиях «Черных пантер», о групповых расправах над ними в 1969 году. В очень немногих странах подобные сведения о деятельности полиции могут стать известными так быстро. И это особенно примечательно, если учесть, что «Черные пантеры» — экстремистская группа, которая открыто провозглашает свое намерение совершать политические убийства. С революционной точки зрения можно оправдывать или порицать их образ действий, но с точки зрения закона, независимо от того, о каком обществе идет речь, смешно называть судебное преследование «Черных пантер» фашистским актом. Какое общество не станет преследовать людей, подкладывающих бомбы в общественные здания?

Фактически американские революционеры находятся в идеальном положении: они обличают недостатки той системы, преимуществами которой пользуются сполна. Это — положение максимальной революцион-

ной отдачи, особенно в пропагандистском отношении. Результаты такого положения вещей очевидны: «Черные пантеры» пользуются большой симпатией «истеблишмента». Один из наиболее известных дирижеров мира Леонард Бернстайн устроил в январе 1970 года в своей нью-йоркской квартире прием в их честь и в их пользу: на этом приеме присутствовали не менее знаменитые артисты, писатели, политические деятели. Из доклада ФБР известно, что «Черные пантеры» получали значительные средства от известнейших людей Соединенных Штатов.

Что касается процесса «Чикагской семерки», обвинявшейся в связи с серьезными беспорядками, имевшими место во время съезда Демократической партии в Чикаго в 1968 году, то в Европе внимание уделялось главным образом целому потоку обвинений в оскорблении суда, обрушившегося на обвиняемых и их адвокатов в ходе процесса. Тот факт, что «Чикагская семерка» и ее защитники избрали своей тактикой преднамеренные провокации, почти совсем не упоминался. Они обращались к Джулиусу Гофману не иначе как «Джульетта», раздевались в зале суда, переговаривались, кричали, требовали, чтобы из зала убрали портрет «работорговца» — президента Вашингтона. Возможно, что такая тактика и была эффективной, но трудно себе представить, что́ еще мог сделать судья Гофман, кроме осуждения этих людей за оскорбление суда; и тем не менее значительная часть американской прессы сочла такую реакцию судьи проявлением чуть ли не параноии. Юристы задались вопросом, что́ делать в подобных случаях. Судить обвиняемых заочно? Невозможно по закону. Помещать их в звукоизолированную прозрачную кабину? Технически затруднительно. Один из обвиняемых в ответ на это предложение сфотографировался с кляпом во рту и сопроводил фото надписью: «Так нас будут теперь судить в Соединенных Штатах». И конечно, этот снимок появился в европейской печати — одна из газет даже сообщила, что это новый метод,

применяемый министерством юстиции Соединенных Штатов Америки. В конце концов присяжные признали «Чикагскую семерку» невиновной в «переходе границы штата с *намерением* вызвать беспорядки», — ибо именно так формулировалось обвинение. Пятеро были осуждены за нападения и нанесение побоев, а затем освобождены под залог (предоставленный «благожелателями») в ожидании рассмотрения их апелляции. Судья Гофман стал объектом кампании, целью которой было запретить ему работать судьей, поскольку он допустил злоупотребление властью в ходе процесса. А сам закон, на основании которого было предъявлено обвинение «Чикагской семерке», подвергся многочисленным нападкам, и в Верховный суд США поступило требование определить, соответствует ли он американской конституции.

После процесса «Семерки» можно сделать вывод, что в руках американских граждан есть эффективные средства для отстаивания своих прав при столкновении с федеральной, штатной или городской администрацией. Каждый год вышеназванные власти принимают решения, цель которых — защита прав американцев. Некоторые из них имеют историческое значение, например, постановление от 1954 года против расовой дискриминации. Иные направлены на пресечение интриг различных влиятельных кругов. Примером может служить постановление, которое аннулировало решение администрации Никсона отсрочить интеграцию в школах штата Миссисипи, назначив окончательную дату — 1 февраля 1970 года. Другое решение подобного рода, от 7 апреля 1969 года, признало противоречащими конституции «все законы, направленные на запрещение закрытых чтений книг непристойного содержания и закрытый показ эротических фильмов».

Конгресс не может издавать законы, идущие вразрез с конституцией страны. Когда же подобное происходит, мы знаем, что и другие суды, помимо Верховного, имеют возможность защитить права людей. 1 апреля

1969 года федеральный суд Бостона объявил неконституционным закон, по которому религиозные убеждения были единственным обоснованием для протеста. В постановлении было сказано, что некогда, принимая такого рода закон, Конгресс воспользовался «непростительным и дискриминационным принципом в ущерб атеистам и агностикам», чьи моральные убеждения не разрешают им носить оружие». (Сравним эти достижения с достижениями нашего Государственного Совета во Франции, чьи решения рассматриваются с презрением, когда они идут вразрез с исполнительной властью, с несуществующей ролью нашего Конституционного Совета и, наконец, с удивительной уступчивостью наших судебных властей на политических процессах).

Во время избирательных кампаний деятельность американских граждан так же эффективна, как и в области судопроизводства, что особенно заметно на примере первичных выборов. В Европе мало внимания уделяют этому обычаю, ценность и значение которого для нас не совсем понятны. В Америке первичные выборы имеют точно определенную цель, которая заключается в следующем: уравновешивать влияние партийной машины и профессиональных политиков и предотвращать искажение ими воли избирателей; иными словами, первичные выборы позволяют избирателю сделать настоящий, а не заранее предопределенный политиканами выбор. Они дают возможность кандидату обращаться непосредственно к избирателям, минуя партийный аппарат.

Вспомним предвыборную кампанию сенатора Юджина Маккарти в 1968 году, сторонника немедленных переговоров во Вьетнаме. Миф о кандидатах в президенты, раздуваемый политиками-профессионалами на партийных съездах, имеет основание считаться мифом. Начнем хотя бы с того, что первичные выборы являются очень эффективным средством заставить этих политиков раскрыть свои карты. С уверенностью можно

сказать, будь Р. Кеннеди жив, он был бы выдвинут кандидатом на пост президента съездом Демократической партии — в какой бы оппозиции ни находилась официальная верхушка партийной машины, полностью контролируемая Джонсоном и управляемая Хэмфри. Более того, поражение Джонсона на первичных выборах в Нью-Хэмпшире в марте 1968 года повлияло в значительной мере на его решение (оглашенное 31 марта) не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Отказ президента США не претендовать на второй срок рассматривался всеми как полное признание провала. В период между заявлением Джонсона и убийством Р. Кеннеди два объявленных (и соперничающих) кандидата от Демократической партии — Кеннеди и Маккарти — были неприемлемы для партийной машины, но это не помешало им добиться значительного успеха на первичных выборах в борьбе против других кандидатов, которых поддерживала партия. Все это еще более удивительно, если вспомнить, что сенатор Маккарти не пользовался финансовой поддержкой. Из этого видно, что выборы являются тем, чем мы хотим, чтобы они были.

Эти первичные выборы играют в Америке примерно такую же роль, что и референдум в Швейцарии. Кстати, разница между референдумом во Франции и референдумом в Швейцарии заключается в том, что во Франции это — прерогатива государства, тогда как в Швейцарии инициатива в данном вопросе принадлежит и гражданам. Швейцарцам достаточно собрать определенное число подписей под требованием проведения референдума по любому вопросу. Так народ сам, по своей воле дает ответ на вопрос, который власть перед ним не ставит.

Было бы, конечно, неверно утверждать, что демократические права американских граждан не находятся под постоянной угрозой со стороны реакции. Но это не меняет того факта, что они лучше защищены, чем где бы то ни было. Это, в свою очередь, объясняет то обстоятельство, что левые силы в Америке сильнее, чем

в других странах. Поэтому, когда мы слышим от европейцев, будто гражданские права ничего не дают для революции, сразу приходит на ум известное выражение: «виноград зелен». Гражданские права завоеваны революциями, они являются важной предпосылкой для революций грядущих. В обществе, где эти права уважаются (пусть даже при наличии частичного угнетения), революционное движение куда эффективнее, чем при тоталитарном строе, не предоставляющем никаких гражданских прав.

Чем больше революционное общество может интегрировать элементов предшествующего ему общества, тем выше его уровень; само наличие таких элементов означает, что предыдущее общество нашло решения сложных проблем и смогло создать новую цивилизацию, с общечеловеческой точки зрения более прогрессивную, чем та, которую она сменяет. Если бы лучшее, что было во Французской монархии, не пережило Французскую революцию, республиканская Франция не многого бы стоила. Если бы женщинам в США не предоставили право голоса 50 лет назад — за четверть века до подобной акции во Франции и Италии, — женское освободительное движение в Соединенных Штатах не стало бы таким, каким оно является в настоящее время — надежным оплотом, поддержкой всех начинаний, инициаторами которых в нашей цивилизации остаются мужчины.

Осуществить революцию — это не значит уничтожить все то, что было раньше. Это значит — уничтожить то, что должно быть уничтожено и что нигде и никогда не повторяется дважды. У философии, противоположной этой, был только один последовательный адвокат, который так определял задачи революции:

«Мы варвары и мы хотим остаться варварами. Это почетный титул. Мы те, кто омолодит мир. Нынешний мир умирает. Наша единственная задача — доконать его».

Адольф Гитлер

16. НИ МАРКС И НИ ХРИСТОС

Революция нравов, бунт негров, протест женщин против господства мужчин, отказ молодежи от общественных или личных целей (исключительно экономических и социальных), применение ничем не ограниченных методов школьного обучения, чувство вины за существование бедности, постоянно растущее стремление к равенству, полный отказ от авторитарных принципов в культуре в пользу критической и разветвленной культуры (скорее новой, чем воспринятой от прежнего культурного наследия), отрицательное отношение к росту американского влияния за границей, потребность в охране окружающей среды даже в ущерб получению прибыли — ни один из этих жгучих вопросов бунта Америки против себя самой не отделим от всех остальных. Негры и женщины, то есть расовая группа и группа пола (каждая из них включает в себя несколько социально-экономических слоев), — это две категории американцев, которые всегда проявляли наиболее сильную оппозицию вьетнамской войне (так же, как и среди студентов). Чикагское отделение «Движения за освобождение женщин» отправило письмо в журнал «Плэйбой» (в июле 1970 года), обвинив его в том, что он, изображая женщину в качестве сексуальной игрушки мужчины, косвенно несет ответственность за войну во

Вьетнаме. Можно посмеяться над этим обвинением. А можно посчитать его даже несправедливым, потому что, будучи предназначенным для эгоистичных прожигателей жизни, «Плэйбой» в то же время — один из самых прогрессивных журналов Америки, его интеллектуальный уровень исключительно высок, если принять во внимание его громадный тираж (свыше пяти миллионов экземпляров). Он занимает прогрессивные позиции в вопросах о неграх, о войне, о свободе личности; в публикуемых интервью, пространных и подробных, известным людям дается возможность высказаться по особо острым вопросам; тем самым журнал этот играет парадоксальную роль, в отличие от всех прочих «легких» журналов, да и вряд ли такое явление вообще встречалось в истории печати. Как бы там ни было, совершенно очевидно, что можно отметить интересную черту: американские феминистки связывают проблему морали (несправедливое социальное положение женщины) с политической проблемой (с войной). Точно так же бегство молодых американцев от догматической и утилитарной культуры мотивируется тем, что их эта культура не удовлетворяет, а также тем, что они хотят быть счастливыми и не хотят «быть похожими на своих родителей» или на участников «истеблишмент». Есть и другая причина неприятия этой культуры — порождение ее обществом, в котором существует бедность, расизм, трущобы и т. д. Борьба против авторитарного общества выражена двойственным отношением: политической оппозицией и воинствующей солидарностью с национальными и другими меньшинствами. Революция морали, новые формы музыки, искусства, развлечений — составные элементы этой борьбы. Сексуальная свобода, поп-музыка, марихуана стали такими же элементами политики, как политика — элементом морали. Фестивали поп-музыки, прототипом которых оказался Вудсток, — это взрывы сексуального и персонального самовыражения, непринужденного поведения и музыки, в которых все эти элементы получают поли-

тическое звучание. Несомненно, именно по этой причине французские власти не разрешили проведение таких фестивалей во Франции, хотя их политическое содержание в Европе значительно более ограничено, чем в Соединенных Штатах. Популярнейшая американская певица Джоун Баэз, дважды побывавшая в тюрьме за участие в демонстрациях, в интервью (кстати, данном журналу «Плэйбой») заявила: «Я ненавижу все знамена, не только американское. Знамя — это символ клочка земли, считающегося более ценным, чем живущие на нем люди. Мы должны избавиться от самой концепции нации». (Муж певицы отбыл срок тюремного заключения за уклонение от воинской повинности.)

Революция, моральная и культурная, сплелась воедино с революцией политической — все это звенья одной цепи. Женщины и гомосексуалисты Сан-Франциско (члены Лиги освобождения женщин и члены Лиги освобождения гомосексуалистов) объединились и с криками «Камбоджа — позор!», «Секс — не позор!» ворвались в здание, где проходил съезд психиатров, обсуждавших, как «лечить» гомосексуализм. Выступления против патерналистских и моралистических тенденций в психиатрии приняли политическую окраску, дали возможность самоутвердиться тем, кто колебался в оценке своего «я».[1] Общество гомосексуалистов и Лига женщин-гомосексуалисток издают несколько газет, их требования освещаются по телевидению. В Вашингтоне 15 мая 1970 года представитель подпольной прессы и несколько его друзей ворвались на заседание Президентской комиссии по вопросам порнографии и забросали членов комиссии пирожными со взбитыми сливками, а затем удалились — полиция

[1] Это была довольно бурная встреча. Возмущенные психиатры начали увещевать своих подопечных. Один из них кричал, обращаясь к члену Лиги освобождения гомосексуалистов: «Пожалуйста, успокойтесь!» В ответ он услышал: «Мы молчали пять тысяч лет!» Психиатр нашелся: «В таком случае потерпите еще полчаса!».

спокойно стояла рядом.[2] Закон свободного аборта и закон, разрешающий развод по обоюдному согласию (или же на основании одностороннего решения), находят у населения все более широкую поддержку.

Взаимосвязь между различными культурными деятелями проявилась 10 июня 1970 года на Венецианском Биеннале, когда группа американских художников выступила «с протестом против расизма, дискриминации женщин и войны», забрав свои работы с выставки, и тем самым бросила вызов своему правительству. В группу входили 33 бунтаря из 44 художников, выбранных для этого фестиваля, лучшие силы, известнейшие имена: Джозеф Альберт, Леонард Баскин, Джон Кейдж, Сэм Фрэнсиз, Джэспер Джонс, Рой Лихтенштейн, Роберт Моррис, Клейс Ольденбург, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол. Насколько мне известно, подобный протест никогда не имел места в среде известных французских художников во время войны в Индокитае или Алжире. Никто из них ничем не жертвовал и никогда не протестовал.

[2] Широко анализируя работу комиссии, пресса нашла, что ее выводы мало чем отличаются от требований, выдвигаемых подпольной печатью. Суть доклада, который был представлен на рассмотрение и затем опубликован (все доклады Президентской и Сенатской комиссий публикуются) в августе 1970 года, состояла в том, что нет никаких оснований считать, будто эротические журналы, книги или фильмы поднимают процент сексуальной преступности или несут в себе угрозу морали молодежи. Вскоре президент Никсон «пожалел» об этих открытиях — работа комиссии оказалась не на должном уровне. Более того, заключения комиссии подхватил журнал «Ньюсуик», подтвердив их собственными исследованиями в статье, озаглавленной «Порнография становится общедоступной» (декабрь 21, 1970). Разрешите мне рассказать американскому читателю о том, как такого рода проблемы регулируются в других странах. Мишель Дебре, будучи министром финансов Франции, потребовал представить ему доклад о финансовых махинациях. Доклад был составлен, но держался в секрете — заключения оказались шокирующими. Это нетрудно было обнаружить, так как члены комиссии состояли из работников Министерства финансов. Сравните это с докладом Скрэнтона по поводу студенческих беспорядков, который был не только опубликован, но появился как раз перед выборами 1970 года и был крайне нежелателен для администрации Никсона.

Точно такое же явление можно наблюдать и в зрелищном искусстве: в современном американском театре, где драма претерпевает коренные изменения, которые опираются на подсознательное в зрителе, ищут пути к его инстинктам, стараются задеть его за живое, вызвать в нем шок; таков же и фильм Энди Уорхола «Одинокие ковбои» — гомосексуальная пародия на ковбоев Запада, которую я видел однажды в обычном кинотеатре Чикаго; пьесы, идущие на сцене, демонстрируют половой акт, а в пьесе «Макберд» — пародии на «Макбет» — президента Соединенных Штатов и его жену открыто обвиняют в убийстве Джона Кеннеди. Примеры могут быть бесконечны, чтобы показать, что свобода должна быть полной — иначе она существовать не может.

Мы знаем примеры политических революций, потерпевших неудачу из-за того, что, кроме прочего, они ограничивались политикой и экономикой и поэтому не смогли создать «нового человека», который придал бы смысл новым политическим или экономическим институтам. Бретон писал в «Пролегоменах к третьему манифесту сюрреализма»: «Нужно не только покончить с эксплуатацией человека человеком, но и пересмотреть — от начала до конца — проблемы отношений между мужчиной и женщиной». Шарль Фурье подчеркивал, что революция 1789 года потерпела поражение, потому что «она отступила перед священностью брака». Если бы женщинам позволили самим распоряжаться своей судьбой, утверждал он, «это был бы скандал и орудие, способное подорвать устои общества». Следует отметить, что даже закон о разводе, принятый во время Великой революции и вошедший в кодекс Наполеона, был настолько впереди своего времени, что его отменила Реставрация. Этот закон был восстановлен только при Третьей республике, но в такой форме, что он оказался еще более ограниченным, чем в начале девятнадцатого века.

Но самой односторонней была, безусловно, русская

революция 1917 года. Ее руководители не допускали ни в малейшей степени культурного или нравственного освобождения. Так, Ленин писал Кларе Цеткин: «Список ваших грехов, Клара, пока еще не исчерпан. Мне сообщили, что во время вечерних чтений и дискуссий с рабочими вы главным образом рассматривали вопросы пола и брака. Я едва верил своим ушам». И добавлял: «Вопросы пола и брака не рассматриваются (вами) как часть принципиального общественного вопроса; наоборот, основной общественный вопрос становится у вас как часть или приложение к половой проблеме... Такое отношение может рядиться в любые подрывные или революционные формы сколько угодно; факт остается фактом: это чисто буржуазное отношение... В партии нет места такому отношению, так же как и среди боевого пролетариата, чувствующего свое классовое отличие». А вот что говорил великий революционер о свободном воспитании молодежи: «Мне говорили, что половое воспитание — один из основных предметов изучения в ваших молодежных организациях... Это особенно скандально и особенно опасно для молодежного движения. Такие проблемы легко могут приводить к повышенному возбуждению, к половому стимулированию отдельных индивидуумов и к ущербу для здоровья и силы молодых людей». И «святой отец» Ленин заключал: «Я никогда не был уверен относительно надежности и твердости женщин в борьбе, для которых личные чувства и политика смешаны, или мужчин, готовых броситься за каждой юбкой и позволяющих себе быть обманутыми первой попавшейся женщиной. Нет. Все это не может иметь место в нашей революции... Половые эксцессы есть признак буржуазной дегенерации. Пролетариат — это восстающий класс, и нет необходимости его возбуждать, спаивать или оглушать».

Совершенно не удивительно, что у коммуниста такая же узость взглядов на революцию в науке и в морали, как и на психоанализ. Позиция Ленина в

этом отношении вполне могла быть заимствованной у Шарля Морраса, французского автора крайне правых убеждений. Вот как Ленин высказал свое мнение о психоанализе в письме Кларе Цеткин:

«Сегодня теория Фрейда не более чем модный каприз. Я совершенно не верю в половые теории, распространяемые в статьях, докладах, брошюрах и т. д. — короче, в научной литературе, которая так пышно цветет в грязи буржуазного общества. Я не доверяю тем, кто постоянно и неотступно занят половыми вопросами, так же как индийскому факиру, поглощенному созерцанием собственного пупка». Вполне логично, что когда пришло время, коммунисты выступили против употребления противозачаточных средств, хотя ажиотаж вокруг этого вопроса совпал с началом подлинного освобождения женщин. Жена Мориса Тореза, бывшего генерального секретаря ЦК компартии, заявила: «Контроль за рождаемостью или добровольное материнство — это ловушка для народных масс и орудие в руках буржуазии, направленное против общественного порядка».

Я не собираюсь утверждать, будто борьба против ограничений в области секса составляет всю совокупность революционной борьбы, но она служит показательным признаком (среди других, более точных) подлинности этой борьбы. Фактически ограничения и репрессии в этой области подразумевают наличие авторитаризма в таких различных сферах, как семья, религия, отношения между полами, между возрастными группами, между расами и общественными классами. Дирижизм в области культуры — еще один признак существования авторитаризма. Для современного американского революционного движения характерно следующее: это первое движение, выступающее с требованиями, которые являются составными частями единого фронта и выдвигаются одновременно в одной программе.

Требования, лежащие в основе индивидуалистских,

анархических традиций, которые направлены на организацию политической борьбы угнетенных или чем-либо ущемленных людей, могут быть выражены только однозначно.

Именно это и придает ценность движению «хиппи», даже при явном нежелании последних быть втянутыми в политику. Их выбор жизни без насилия, желание найти взаимопонимание и поддержку являются выпадом против общества, контркультурой. Их влияние распространяется не только на пожилых мужчин и женщин среднего класса, но и на людей самых различных профессий: барменов, садовников, солдат, специалистов по связи, пилотов. В Нью-Йорке можно приобрести парик с короткими волосами для хиппи, работающих в конторах, и парики для тех, кто хочет стать хиппи ночью или на время уик-энда.

Эротика, наркотики, длинные волосы, уличные баррикады, бросание камней, «коктейли Молотова»[3], уличные столкновения — для родителей все это означает одно: дьявол овладел душами детей. И по сути они правы — их дети становятся похожи на сатану: они безнравственны, лица закрыты космами, их единственное желание — все на свете сжечь до тла. И именно хиппи вобрали в себя все эти пороки. Это довольно упрощенное суждение возможно только в Европе, где так мало представителей этого жанра, для равнодушного свидетеля, неподверженного социологическому рвению, не желающего потрудиться, чтобы найти хоть какое-нибудь различие. Дело в том, что инакомыслящие, когда они не могут поддерживать друг друга, образуют мелкие, ничего собой не представляющие группки. В Соединенных Штатах, однако, где хиппи более многочисленны (если сравнить их процент по отношению к остальному населению), каждая из групп

[3] Бутылки с зажигательной смесью.

представляет собой довольно обширный клан. Например, Сан-Франциско насчитывал в 1967 году 300.000 хиппи, а население города в то время было менее 750.000. Пропорции говорят сами за себя; чтобы не замечать феномен хиппи, не придавать ему значения, нужно быть слепым.

Хиппи нельзя отождествлять ни с радикалами, ни с какими-либо другими группировками «новых левых», такими, как «Движение за свободу слова», «Студенты за демократическое общество», которое является образцом для европейских диссидентов, «Везермены» (террористическая группа, ответственная за бросание бомб в марте-апреле 1970 года, особенно в Нью-Йорке) и «Союз социалистической молодежи», а также «йиппи» (Международная партия молодежи), группа, очень активная в политике, которая организовала демонстрацию на съезде национальной Демократической партии в Чикаго в 1968 году.[4]

В Соединенных Штатах существует общая база для всех проявлений как американской революционности, так и ее европейского продолжения: это неприятие общества, подвластного законам прибыли, общества, где господствуют главным образом экономические соображения, где правит дух конкуренции и действует взаимная агрессивность его членов. Под поверхностью революционного идеала кроется убеждение в том, что человек стал «средством» и что он снова должен стать «целью и ценностью» сам по себе. Для хиппи, например, характерно острое сознание того, что люди

[4] Книга «Почему вы не хиппи?» Бернара Плоссю (Париж, 1970) составлена из различных интервью и дает точное представление о движении хиппи, о том, что оно имеет общего и чем отличается в своих протестах от других групп молодежи. Плоссю — француз, который, примкнув к хиппи в Америке, не изменил этому течению и по возвращении во Францию. Он прекрасно знает, что жизнь хиппи чужда европейцам и вряд ли они поймут ее. Очевидно, это невозможно, как невозможно было бы объяснить значение слова «swing» провинциальной учительнице музыки во Франции в 1930 году.

утратили свое «я», что смысл жизни искажен до неузнаваемости. Для них общество конкуренции, дух соперничества — источники страданий. Но они не клеймят позором это общество, а просто отказываются от участия в нем — в один прекрасный день они решают перестать быть винтиками общественной машины и как бы выпадают из нее. Бодлер предлагал добавить к Декларации прав человека право противоречить самому себе и право уйти. Хиппи всячески используют и то и другое.

И такое использование, получив широкое распространение, обладает значительно большей революционной силой, чем это склонны признавать те, кто остается верным догматическому принципу смотреть на все в соответствии с классической игрой в политику. Когда общества по-настоящему приходят в упадок, это оказывается результатом внутреннего абсентеизма, поскольку их члены нашли другие формы связей. И американское общество мучительно ощущает это внезапное отчуждение, эту утрату любви. Хиппи — это тот самый муж, который вышел на пять минут купить пачку сигарет и больше не вернулся. Хиппи — это те два героя из пасторали о бегстве в фильме Питера Фонда «Беззаботный всадник», вызвавшем в Европе снисходительные улыбки и с трудом воспринятом как кинематографическая «новинка» (возможно потому, что пронизывающая его излишняя чувствительностсть, необходимая для понимания американской контркультуры, менее характерна для Европы, чем для Америки).

Конечно, очень легко ставить хиппи в вину политическое безразличие, их наивное отрицание любых форм насильственных действий — именно эти черты отличают их от других групп, бросивших вызов обществу. Хиппи вполне можно упрекнуть в забвении того, что само их существование возможно лишь в обществе изобилия с избыточным производством (хотя сами они предпочитают существование в относительной бед-

ности). Можно высмеивать их маловразумительную идеологию, смесь путаного ориентализма и повзрослевшего примитивизма (хотя они скорее склонны утверждать, что предпочитают поп-музыку любой идеологии). Можно издеваться над их упрощенной верой в силу всеобщей любви, которая, по их мнению, является ключом к решению всех проблем (несмотря на это, многие плохо осведомленные люди считают убийц Шарон Тэйт представителями хиппи). И немалое удивление вызывает их убежденность в том, что можно быть абсолютно свободным, не задевая при этом прав и свободы других...

Все это, конечно, спорно, зачастую — весьма ограниченно; но факт остается фактом: отказ хиппи принять регламентацию в какой бы то ни было форме придает им таинственную силу и позволяет оказывать давление, которое подобно, скажем, воздействию голодовки. Тому, кто пытается убедить хиппи придать их протесту политический или религиозный характер, последние отвечают терпеливым и непреклонным сопротивлением. Майское восстание 1968 года в Париже представлялось хиппи продуктом того самого жесткого общества, из которого они стремятся вырваться; об участниках событий Плоссю говорит так: «Их идеи о восстании были в конечном счете их цепями, попытка освобождения — лишь формой рабства».

Эти слова Плоссю должны были бы вызвать недовольство среди приверженцев революционных действий. Неприятие хиппи категоричных немедленных решений возникает на основе чувства, что для успешной революции необходимо уничтожить патологическую агрессию. Пока это не достигнуто, никакая революция в понимании хиппи ничего не добьется и только приведет к новой форме тирании. Нам необходима не так политическая революция, как революция аполитичная, которая не породит новые полицейские государства. Агрессивность человеческого поведения —

определяющий фактор, который жестоко и без всяких на то оснований убивает самые добрые, святые намерения. Если эту агрессивность не искоренить, то, по мнению хиппи, все пойдет прахом.

Это мнение хиппи отражено в их взглядах и поведении; тем самым они постоянно напоминают нам, что революция — это не просто переход власти из рук в руки, но это еще и изменение целей, во имя которых власть осуществляется, новое содержание, которое приобретают любовь, ненависть и уважение. Кроме того, хиппи могут указать тем, кто все еще разглагольствует о «свободе под дулом пистолета» в мире, тонущем в море бесцельно пролитой крови, что этот лозунг — всего лишь устарелая побасенка.

Не так уж невозможно, чтобы признаки новой и еще более важной технической революций, сопровождающейся развитием биологической науки, не предрешили «возврата к природе». Это те же самые признаки, или предчувствия, которые послужили предупреждением людям шестидесятых годов восемнадцатого века накануне Первой великой технической революции. И сегодня, как и во времена Руссо, борьба за сохранение красоты и благ природы свидетельствует о нашей потребности верить в то хорошее, что есть в человеке, о потребности доказать это самим себе, что заставляет нас от единичной культуры обратиться к культуре вообще, во всей ее совокупности. Поэтому нелепо видеть в борьбе за сохранение окружающей среды лишь мелкую стычку или модное поветрие. Наоборот, эта борьба — один из составных элементов революционной задачи, который необходим для ее решения. В этой сфере мы находим дополнительный источник эмоциональной энергии, необходимый для отдельных сражений (главным образом против всемогущества крупных промышленных предприятий), для победы в которых одних политических программ недостаточно. Не проходит недели без того, чтобы мы не узнавали то о новых

законопроектах о запрете на двигатели внутреннего сгорания (к 1975 году), то о судебных акциях против авиакомпаний в штате Нью-Йорк или в других штатах с целью очистки атмосферы от выхлопных газов.

Не следует, конечно, преувеличивать эффективность этих мер, потому что, как выясняется, чем серьезнее проблема, тем меньше средств на ее решение может выделить государство-нация. Защита окружающей среды ставит проблемы, практическое решение которых трудно предугадать; некоторые специалисты считают положение безвыходным. Но как бы там ни было, сигнал тревоги в Соединенных Штатах звучит громче, чем в любой другой стране. Характерно, что сигнал этот двоякий: научно-технические исследования и коллективные эмоции, более сильные и более широко распространенные, чем где-либо. «День природы» превращается в Соединенных Штатах в грандиозный пантеистический праздник. Нам говорят: это потому, что «в Америке загрязнение среды больше, чем в других странах». По убеждению европейцев, природа там больше не существует, вся страна представляется им в виде одного огромного Чикаго. Они забывают, что численно население Соединенных Штатов примерно равно всему населению стран «Общего рынка», а их площадь в восемь раз больше. К своему большому удивлению европеец, летящий в самолете над Соединенными Штатами, обнаруживает, что свободного пространства там значительно больше, чем городов, а сами города практически скрыты зеленью, поскольку в стране широко практикуется (даже для городов с миллионом жителей) застройка лесистых местностей.

Юноши и девушки, которые в Калифорнии по субботам обнаженные ходят по лесу, распевая песни под гитары и флейты, те, кто ложится перед бульдозерами, чтобы защитить деревья от выкорчевывания, те, кто идет жить в коммуну хиппи, редко бывают из тех мест, где воздух загрязнен, где под ногами мусор,

как например, в Нью-Йорке, Париже или Лондоне. В экологическом движении есть что-то более значительное, чем эффект практического детерминизма. В конце концов, человечество тысячи лет жило (и по большей части живет и сейчас), пользуясь загрязненной водой, и выжило, пройдя сквозь эпидемии дизентерии и тифа. Одного страдания, очевидно, недостаточно, чтобы призывать к борьбе за улучшение окружающей среды. Малярия никогда не приводила к революции, не была она и причиной революции. Чтобы бороться, нужно видеть явную связь между природой, техникой, экономической и политической властью. Необходимо верить убежденно, горячо, что природа принадлежит человеку, и осознать, что пленка нефти на океане отнюдь не благоприятствует его уровню жизни. Такого рода убеждения развивают политическое сознание человека, которое призывает к пересмотру внутрисоциальных отношений, к совместному владению имуществом, к взаимозависимости, к общей ответственности.

Те, кто все еще считает, что экологическое движение в Соединенных Штатах — это часть плана, цель которого отвлечь внимание людей от «более важных проблем», своего рода «дымовая завеса» политического характера, скорее всего не видели карикатуры в журнале «Ньюйоркер», на которой пожилой и явно богатый игрок в гольф высказывает другому игроку свое отношение к «экологическому бизнесу»: «Очередной коммунистический трюк». Вряд ли это так. Коммунисты в вопросах экологии настолько же отсталы, как и в вопросах освобождения женщин и противозачаточных средств. Но точно так же, как европейцы все еще верят, что американцы — пуритане, они все еще изображают американцев рабами ненужных безделиц и машин для очистки воздуха. Правда заключается в том, что во всем мире нет другой страны, где бы к автомобилю относились просто как к рабочему инструменту и где

люди за рулем меньше всего напоминают маньяков. Более того, именно в Америке революция морали и ее составная часть — экологическая революция положили начало эре осторожности, если не эре прямого недоверия, по отношению к машинам и «техноэлектронному обществу».

Вполне обоснованно сделать вывод: в Соединенных Штатах существует контркультура, контробщество. И что самое важное — это контробщество не исключение; это созвездие революций, характеризуемое требованием равенства полов, возрастных групп, рас; для него характерно отрицание авторитаризма, на котором базируется всякое иерархическое общество, иерархизированное силой и произволом, возврат от директивной культуры к культуре продуктивной, отказ от националистических критериев во внешней политике, осознание устарелости понятия «авторитет государства», созданного без достаточного участия народа и управляемого в условиях, позволяющих нарушение законности и злоупотребление властью в нетерпимых масштабах. Для этого контробщества свойственно стремление к равенству экономическому и образовательному, радикальный пересмотр задач техники и последствий ее развития, требование абсолютной личной и культурной свободы без какой-либо нравственной цензуры, что является одной из разновидностей отказа от авторитаризма. При осуществлении всех этих требований, вполне вероятно, возникнет *homo novus*, существенно отличный от всех других.

Эти предпосылки для революции — в их совокупности и в сочетании с широкими массами американцев, которые их поддерживают, вместе с изменениями, уже происшедшими в поведении, ощущениях, привычках, мышлении и поступках американцев, — можно назвать первым этапом революции. Обычно совершается политическая революция сверху, за которой не следует революция социальная, способная укрепить ее. В Соеди-

ненных Штатах, однако, социальная революция уже в значительной степени достигла своих целей. Остается узнать, будет ли использован запас энергии, созданный этим массовым контробществом.

* * *

Таким образом, революционная сила существует. Результаты ее действия уже налицо: два общества, два вида гуманизма существуют, противостоят друг другу, и их представления о будущем непримиримы. Поэтому уже можно говорить о кризисе, а не о кризисных явлениях, — о кризисе самого общества. Но каким будет решение? Подлинно революционное решение заключается в том, чтобы попасть в точку пересечения намеченных линий и стараться не применять рецепты, заимствованные из прошлого. Американское «движение» сравнивали с ранним христианством; иногда благожелательно, чтобы приветствовать рождение новой эры, иногда враждебно, чтобы продемонстрировать самовлюбленность этого движения. «Черные пантеры» называют себя «марксистами-ленинцами», а студенты — участники «Движения за свободу слова», которые играют ведущую роль в новом левом движении, обращаются сразу и к Марксу, и к Ленину, и к Геваре и к Мао. (В одной из глав книги «The Strawberry Statement» девушка-студентка спрашивает: «Разве вы не знаете, что Ленин любил большегрудых?» — и она показывает свои огромные груди.) Прокитайская Прогрессивная рабочая партия, студенческая ветвь которой (Рабоче-студенческий союз) организовала оккупацию территории Гарвардского университета весной 1969 года, все еще придерживается догмы: рабочий класс — единственный революционный авангард —

позиция, особенно смешная в американских условиях.[5] С другой стороны, организация «Везерменов» ждет революции в третьем мире и среди негров, в чем она следует по стопам Троцкого, Гевары и Маркузе.

Религиозный компонент «движения» отрицать невозможно. «Потребность в святости» довольно хорошо удовлетворяется беспорядочным привнесением и бессистемным использованием практики восточных религий, а также возвратом к индийскому культу «натуральной» пищи, к астрологии (по которой мы вступили в век Водолея, причем «астральный смысл» этого факта изучаются со всей серьезностью) и новому открытию христианства. Однако потребность эта удовлетворяется прежде всего путем применения традиционного принципа, уже увенчавшегося успехом в Америке: самая лучшая религия — это та, которую ты сам для себя создал.

Соединенные Штаты Америки никогда не имели государственной религии, как официальной, так и официозной. Европейские мудрецы, посмеивающиеся над врожденной религиозностью американцев, подчеркиваемой Библией, которую клиенты находят в гостиничных номерах, и надписями на деньгах «Мы полагаемся на Бога», — поступили бы лучше, если бы задумались над последствиями того очень важного культурного факта, что в этой обширной стране ни одна церковь никогда не доминировала — ни по закону, ни фактически — в духовной, политической, интеллектуальной или культурной жизни народа. Правда, президент Соединенных Штатов, вступая в должность, приносит присягу на Библии, а президент Франции — нет. Однако президент Франции тоже не

[5] В этом отношении показательно, что призыв Рабоче-студенческого союза к рабочим последовать их примеру не нашел отклика, так же как и обращение к рабочим за помощью во время захвата территории университета.

свободен от влияния исповеди. И то же самое можно сказать, если сравнить эти две страны (не говоря уж об Италии и Испании) с точки зрения свободы от религиозного влияния в школе, в редакции газеты или в издательстве. Ежегодник американских церквей за 1969 год перечисляет семьдесят пять признанных религий в Соединенных Штатах (под понятием «признанный» подразумевается религия, насчитывающая не менее пятидесяти тысяч верующих). Вообще же в США можно обнаружить тысячи различных церквей. В одном Лос-Анджелесе можно менять религию хоть ежедневно, если есть на то желание; некоторые из этих эфемерных религий существуют несколько месяцев, пока их основателям все это не надоест.

Если в полдень прийти в студенческий городок Бэркли, то можно всякое увидеть: тут группа босых и с обритыми головами «буддистов» пляшет в длинных желтых одеждах (все они — уроженцы штатов Орегон или Аризона), там группа христиан-хиппи пытается заглушить барабаны «буддистов», выкрикивая имя Христа, а неподалеку от них «натуристы-пантеисты» продают фрукты и овощи, выращенные без помощи химических удобрений.

Иисус был и остается почетной фигурой в мифологии хиппи. Существует группа, которая называет себя «Уличные христиане» или «Юродивые от Христа». Вначале такое название звучало насмешкой, но приверженцы и последователи культа хиппи с гордостью стали носить это имя. Они без труда нашли богатых и щедрых покровителей. Один из них сравнил хиппи с «первыми христианами» и некоторые жители Вудстока его поддержали. «Я думаю, что вы шагнули в первое столетие», — сказал он своим друзьям-хиппи. «Юродивые от Христа» организовали несколько сот коммун как в деревнях. так и в городах; у них уже есть своя газета «Вперед», в которой они яростно выступают против сексуальной неразборчивости, гомосексуализма и наркотиков. При этом, однако, они не отказывают

«культуре наркотиков» в известной доле духовности, которой недостает «культуре алкоголя». (Очень важно понять религиозный смысл наркотиков, а также столкновение «двух культур»: марихуаны и сухого мартини.) И несмотря на то, что «Юродивые от Христа» стоят за ограничение личной свободы и призывают к отречению от «терпимости», их движение может укрепиться исключительно в религиозном аспекте и привести к значительной самоизоляции в обществе. Или еще хуже: миллионы пойдут по этому пути, пути самоизоляции, и каждый изобретет свой собственный религиозный культ.

Однажды на стене одного из студенческих зданий в Санта-Крус я прочитал следующее изречение: «Когда мир вне закона, только находящиеся вне закона могут обрести мир». Таким образом, развитие массового контробщества продолжается; но если оно превзойдет определенные размеры, экономический рост в Соединенных Штатах может замедлиться.

Такая возможность существует. Но это не будет разрешением кризиса. Можно представить себе некое самоубийство технологического общества и самоудушение американской мощи изнутри, огромный бойкот, который ослабит и дезорганизует производство. После этого Америка, населенная оборванцами-мистиками и разорившимися банкирами, рухнет и отодвинется в третий мир. В таком случае установится некая «международная справедливость» и, после гибели империализма в его гнезде, человечество снова двинется к демократическому социализму. Однако тут есть одно «но»: проблемы, стоящие ныне перед человечеством, не могут быть разрешены без научно-технического прогресса (опирающегося на экономическую мощь), основным источником которого является Америка. Более того, этот вымышленный изоляционизм США лишь ухудшит их внутренние проблемы, так как он уничтожит сами средства удовлетворения требований негров, «бедных», женщин, студентов, жителей

городов; все эти группы тогда восстанут вновь, и результатом будет процесс разложения без всякой возможности решения проблем — вместо революции, которая представляет собой процесс дезинтеграции при наличии решения и новой интеграции конфликтующих сил. Экономический и социальный упадок Америки неизбежно приведет к сдвигу вправо среднего класса и к авторитарному политическому режиму. Может быть, в американском подполье действительно рождается новая религия будущего, не знаю; но если это так, я сомневаюсь, чтобы она была продуктивной с революционной точки зрения в ближайшем будущем.

Такие перспективы — скорее их отсутствие — свидетельствуют об ограничениях сегодняшнего движения диссидентов. Эти ограничения часто исследовались — особенно психиатрами — как ребяческие попытки «уйти от реальности». Относительно способности диссидентов изменить реальность авторы в разных странах высказывали сходные оговорки. Одни считают, что никакая революция не может исходить из отрицания действительности (Андре Стефан, «Мир, бросающий вызов», Париж, 1969). Молодежь среднего класса (то есть сегодняшние диссиденты и студенты) бунтует не столько против своих отцов, сколько отказывается признать сам факт их существования. Среди молодежи, говорит Стефан, господствуют нарциссизм, самовлюбленность и нетерпимость — характерные фазы полового развития, предшествующие фазе эдипова комплекса. Подлинно революционный дух ведет не к отказу от отца, а к стремлению встать на его место, стать «своим собственным отцом». Это мысленное «устранение» отца приводит нас в доэдипов мир, где господствует мать, одновременно воплощающая и добро и зло; это прототип общества потребления, от которого молодежь требует всего и которое она хочет уничтожить.

Для фазы нарциссизма характерно желание обладать всем одновременно. Если удовлетворение этого

желания не наступает немедленно, тогда совершается переход к галлюцинаторному его осуществлению. Потребность во всесилии делает невозможными последовательные действия, поскольку нарциссизм игнорирует принцип реальности и отказывается признать несовместимость противоречивых решений. Для инфантильного нарциссизма непереносима сама идея выбора.

Мы знаем, как трудно диссидентам описать то общество, к которому они стремятся. Эта нехватка точных идей, как иногда отмечают, оправдана; в конце концов, найти решения — дело взрослых. Дело молодежи главным образом в том, чтобы выразить неудовлетворение в общих чертах. Это замечание игнорирует два факта. Первое: дух протеста не является исключительным свойством молодости. Второе: дух протеста исключает все конкретные решения, всегда частичные и всегда склонные «испариться» — сразу же или впоследствии.

Все технические дискуссии, любые оговорки, касающиеся деталей — даже со стороны тех, кто поддерживает требования диссидентов, но указывает на трудности в их практическом осуществлении, — рассматриваются инакомыслящими как полное отрицание и акт враждебности. Такие дискуссии служат напоминанием о реальной действительности, а это как раз и неприемлемо для тех, кто признает лишь полное и моментальное удовлетворение и не может, следовательно, принять ни постепенного прогресса революционных действий, ни пути реформ. Все, что противоречит магии слов, воспринимается лишь как повторение первоначального болезненного опыта, пережитого ребенком, когда он впервые обнаружил свою зависимость от окружения.

В этой вселенной, где господствует принцип «все или ничего», где есть только белое и черное, нет места революционному действию, есть только сострадание. И не случайно, что движение диссидентов влилось в основные направления христианства, а затем трансфор-

мировалось и приобрело религиозный характер. Сострадание может касаться рабочего, негра или бедняка. После победы Израиля в шестидневной войне диссиденту трудно простить евреям, что они больше не униженная нация. Еврей-победитель — плохой объект для распятия. Быстрота, с которой некоторые друзья Израиля отвернулись от него, не потрудившись даже подробно проанализировать причины конфликта 1967 года, указывает на то, что произраильская позиция больше не в состоянии снять вину с этой страны. По этой же причине легко понять, почему рабочие обязательно должны влачить жалкое существование. «Вы голодаете?» — спрашивали студенты бастовавших рабочих заводов «Рено», к немалому удивлению и веселому недоумению этих самых рабочих. Если рабочие довольны, они не могут быть объектом для сострадания диссидентов. В этом явлении — источник критики, которой Герберт Маркузе подвергает общество потребления; цель этой критики — восстановить пролетариат в его роли жертвы, — на этот раз путем возрождения понятия «отчуждения». Поэтому нам недозволено признать, что положение негров в последние двадцать лет в Америке существенно изменилось. А приравнивание обеспеченности пролетариата к своего рода контрреволюционному терроризму предполагает серьезное искажение революционного идеала и существование серьезных противоречий у тех, кто допускает такое приравнивание.

Ни одна революция не может быть результатом претензии на воплощение абсолютного Блага и на противоборство с абсолютным Злом. Поэтому настораживает та легкость, с которой приверженцы иррационального овладели движением протеста; в такой же мере настораживает и возникший в результате дух нетерпимости. Не я первый отмечаю сходство отдельных идей движения диссидентов с некоторыми идеями предвоенного фашизма. Наиболее яростные нападки

на слабости французского народа, выражающиеся в обилии иллюстрированных журналов, в оплаченных отпусках, в пенсиях по старости, в привычке пить аперитив и принимать участие в национальной лотерее, мы обнаруживаем у Бразийяка, Ребатэ, Селина — писателей, известных своими симпатиями к фашизму. Даже Муссолини произнес немало резких слов против тех, кто стремится к легкой жизни; эти слова, несомненно, вызвали бы аплодисменты в 1968 году в некоторых студенческих аудиториях, если бы при этом не упоминалось имя Муссолини. (Между прочим, такого рода «шутки» имели большой успех в Берлине.)

Можно ли в таком случае и на основе этого сделать вывод, что движение протеста ведет к контрреволюции? Я не думаю, что можно зайти так далеко; но представляется очевидным, что сам по себе протест еще не есть революция. В современных обществах протест диссидентов — необходимое условие революции, хотя одного этого условия недостаточно; его должно дополнять что-то еще.

Но что? Это приводит нас ко второй гипотезе (первая гипотеза — религия): для наиболее предприимчивых участников «Движения за свободу слова» необходимым «чем-нибудь еще» является классическая революция в духе учения Маркса; иными словами, — свержение капитализма и его политической системы угнетенными классами. Эта точка зрения разделяется всеми сторонниками различных «движений к власти». Таковы «Власть черных», «Коричневая власть» (организация американцев мексиканского происхождения), «Власть краснокожих» (организация индейцев), «Власть пола» (женская организация), «Власть студентов» — всех их объединяет лозунг «Власть — народу». Марксистские и христианские группы легко находят общий язык в «Дзен-марксизме» и в «Поп-марксизме»; молодежь, для которой Христос — лучшее приключение под действием наркотика, и группа Мао-Гевары легко

понимают друг друга. Единственная проблема заключается в том, что такое взаимопонимание ведет скорее к удобствам религии, чем к радости власти.

Революция была точно описана как «движение протеста, добившееся прихода к власти».[6] В рамках такого определения мы можем добавить, что критический вопрос нашего времени заключается в следующем: как перейти от протеста к революции? Ответ, по-моему, зависит от того, как понимать выражение «прийти к власти». В обществах, где государство находится в зачаточной и централизованной форме, процесс прихода к власти довольно прост и быстр. В таком сложном обществе, как Соединенные Штаты, однако, власть не окажется в руках тех, кому удастся совершить нападение на Капитолий. Именно поэтому все действия городских партизан, о которых мы много слышим в последнее время, — это не революционная война, не переход от протеста к революции, а только лишь форма вооруженного протеста. Это скорее интенсификация формы действия, а не переход к новой форме. Анархисты, практиковавшие в конце девятнадцатого века убийства посетителей парижских кафе, были воинствующими диссидентами, а не революционерами. У них не было никаких шансов на захват власти. А непременным условием революции является переход власти из одних рук в другие. И в некоторых случаях на это уходит немало времени в ходе самого революционного процесса, иначе говоря, переход власти осуществляется средствами, выходящими за рамки обычных правил политической игры. Эти средства, однако, не должны вступать в противоречие с общественной средой и с соотношением сил.

Применительно к Соединенным Штатам едва ли кто-нибудь верит в действительное существование там монолитного «молчаливого большинства» и в то, что

[6] Жан Баклер, «Феномены революции», Париж, 1970.

гражданская война — единственный возможный образ действий. Для успеха восстания на его стороне должны быть армия и полиция, и это не представляется вероятным в стране, где столь велико уважение к конституции. Единственной причиной гражданской войны может быть военное поражение, за которым следует острая нужда, как это было в России в 1917 году, или война за национальную независимость, как в Китае. Но обе эти гипотезы совершенно нереалистичны для Соединенных Штатов. Более того, гражданская война предполагает наличие определенных социологических условий, которых в стране нет. Классовая борьба в США — это не борьба «одного класса против другого». Америка вовсе не состоит из монолитного «молчаливого большинства», с одной стороны (во-первых, это совсем не большинство, а во-вторых — не молчащее), а с другой — из блока «жертв капитализма».

Когда в 1962 году была опубликована книга «Другая Америка» Майкла Харрингтона, утверждение автора о том, что в Америке среди изобилия существует бедность, явилось полной неожиданностью для некоторых оптимистически настроенных экономистов. В то время прожиточный минимум городской семьи из четырех человек определялся в 3.000 долларов, доход, ниже которого шел уже уровень бедности. В 1968 году этот минимальный доход увеличился до 3.553 долларов, а к концу 1970 года — до 3.700 долларов. При доходе ниже этого уровня семья из четырех человек имеет право и возможность получать социальную помощь. А средний доход на душу населения в США составлял в 1968 году 3.412 долларов в год. Для сравнения можно указать, что в Потругалии он составлял 412 долларов, в Испании — 719, в Италии — 1.300, во Франции — 1.436, а в ФРГ — 1.753 доллара. В таких условиях бедность (определяемая не доходом, а, например, жилищными условиями, возможностями получения образования и т.д.) затрагивает от одной шестой до одной пятой амери-

канского населения. Это позволило Харрингтону говорить о «первом известном в истории меньшинстве бедняков»; он имел в виду не низкое число бедных, а тот факт, что впервые обычное разделение общества на несколько богатых семей и огромное большинство семей бедных уже не соответствует действительности. С политической точки зрения такое положение требует пересмотра тактики. Больше уже нельзя говорить, что на стороне угнетенных численное превосходство и что при первом же ослаблении системы угнетения достаточно будет, чтобы они поднялись, как правительственная машина рухнет. По демографическим данным за 1970 год так называемых «бедных» в Америке было 25 миллионов при населении в 207 миллионов. Сюда входят примерно 29 процентов негритянского населения (8 из 25 миллионов) и около 8 процентов белого населения (16 из примерно 168 миллионов). Остальные «бедные» — это частично пуэрториканцы, частично — американцы мексиканского происхождения (соответственно 1,5 млн. и 500 тыс. человек). Совершенно очевидно, что американские «бедные» не составляют единого социального класса как в силу относительной численности, так и по составу, поскольку проблема бедности не совпадает с проблемой расовых меньшинств. Например, одна треть всех цветных семей Америки имеет годовой доход выше 8 тысяч долларов. В статье Майкла Харрингтона, опубликованной в 1969 году, автор отмечает, что бедные никоим образом не составляют «пролетариат» в социалистическом значении этого понятия. И фактически восстания в негритянских гетто Америки, так же как и беспорядки в студенческих городках, можно считать смесью насилия и давления. Если бы это были акты чистого насилия в результате непримиримых конфликтов противостоящих сил, то дело уже давно было бы кончено как в гетто, так и в городках.

Успехи, достигнутые со времени переписи 1960 года в борьбе против бедности, в деле улучшения положе-

ния негров и десегрегации, несомненны, хотя и недостаточны. Добиться их удалось благодаря своеобразному сочетанию насильственных выступлений со стороны «антиистэблишмента» с использованием возможностей, предоставляемых участием в демократическом процессе, а также благодаря достоинствам американского политического устройства. Я уже приводил пример такого рода, разбирая забастовку рабочих калифорнийских виноградников; длившаяся пять лет забастовка увенчалась в июле 1970 года победой рабочих; владельцы виноградников пошли на все уступки. С началом забастовки Сесар Чавес, лидер «чиканос» (многие из которых не имеют американского гражданства), организовал бойкот винограда, оказавшийся весьма успешным в больших городах и особенно в студенческих городках. Владельцы перешли в контрнаступление и, приведя в действие свое лобби в Пентагоне, добились, чтобы армия покупала не находящий сбыта виноград. Тогда Чавес обратился с иском в Верховный суд, утверждая, что договор между владельцами виноградников и военными представляет собой нарушение антитрестовского законодательства. Суд удовлетворил его иск. Благодаря средствам массовой информации дело «чиканос» превратилось в общенациональную проблему. Незадолго до смерти Роберт Кеннеди появился рядом с Чавесом на массовом митинге американцев мексиканского происхождения. Даже при таких обстоятельствах забастовка продлилась еще два года. 25 июля 1970 года Чавесу позвонил представитель владельцев виноградников и сообщил, что последние признали возглавляемый им комитет по ведению переговоров и приняли его требования.

Я потому неоднократно обращался в этой книге к забастовке рабочих виноградников, что в ней отразились почти все характерные особенности конфликтных ситуаций в Америке. В ней участвовало расовое и культурное меньшинство, а расовые меньшинства в Америке

играют роль революционного катализатора[7] (например, политическое сознание многих белых американцев пробудилось тогда, когда они бок о бок с неграми принимали участие в маршах и сидячих забастовках). Бойкот оказался успешным, потому что пользовался поддержкой как белых либералов, олицетворенных Робертом Кеннеди, так и радикально настроенных студентов. Поддержка эта явилась знамением раскола, происшедшего внутри привилегированных классов и правящей элиты. В решающий момент в ход событий вмешался закон в лице Верховного суда, ставший на сторону Чавеса. Солидарность других профсоюзов дала забастовщикам возможность продержаться целых пять лет, а свобода информации позволила им отстаивать свою позицию на равных правах с владельцами виноградников.

В этом случае пришлось бы применить совсем другую тактику, если бы, как это происходит в некоторых других странах, судебная система была чересчур предвзятой или раболепной, чтобы исходить в своих решениях из закона. Кроме того, было бы смешно полагаться лишь на абстрактную, «формальную» демократию. В каждом конкретном случае следует принимать во внимание тот уровень, на котором функционирует сложившаяся юридическая система, как в случае социальных конфликтов, так и конфликтов между гражданами и теми, кто находится у власти. Этот уровень (не существующий в одних странах, средний в других и сравнительно высокий в остальных) является решающим фактором при оценке возможностей, которыми можно пользоваться в данной конкретной ситуации.

[7] Интересно отметить, что в Соединеных Штатах проявляется забота и о языковых меньшинствах. В Калифорнии надписи в общественных местах, особенно в аэропортах, делаются на английском, испанском и китайском языках. Существуют также многочисленные телевизионные программы на испанском языке.

Так, Хьюи Ньютон, руководитель организации «Черные пантеры», приговоренный к 15 годам заключения за убийство полицейского, был выпущен под залог 15 августа 1970 года по решению апелляционного суда штата Калифорния. Это решение было утверждено Верховным судом штата, отменившим приговор суда низшей инстанции и назначившим новый процесс на том основании, что Ньютон был ранен и что в момент выстрела он, естественно, не мог полностью контролировать свои действия. Выйдя из тюрьмы, Ньютон с видом победителя продефилировал по улицам Окленда, а затем провел телевизионную пресс-конференцию в конторе своего адвоката. Он объявил о своем намерении войти в контакт с северовьетнамской делегацией в Париже и предложить ей услуги группы добровольцев-негров (размеров ее он не назвал), желающих сражаться на стороне Вьет-Конга и помочь вьетнамскому народу в его борьбе против американских агрессоров.[8] Задумаемся, смог ли бы французский гражданин, принадлежавший к террористической организации во время алжирской войны и выпущенный под залог при подобных обстоятельствах (чего, к тому же, никогда бы не случилось), нагло объявить о желании набрать личную армию и воевать против французов в Северной Африке?

Какими бы яростными ни были гражданские столкновения в Америке (главным образом это борьба в студенческих городках и борьба расовых меньшинств), неизменным остается факт, что наилучшие результаты достигаются путем соединения этой борьбы с теми легальными средствами, которые предусматривает американская политическая система. И это особенно важно, потому что федеральная структура и автономия ее муниципальных органов позволяют действовать на разных уровнях и обеспечивают различные методы

[8] По сообщению «Лос-Анджелес Таймс» от 6 августа 1970.

борьбы. Например, если во Франции запрещается демонстрация, то источник запрета не вызывает сомнений. Если это важная политическая демонстрация, то тогда запрет исходит от правительства, иначе говоря — от министра внутренних дел или одного из префектов. В США, если демонстрация запрещена, то сразу же задается вопрос: «Кем запрещена?» Это может быть ректор университета, муниципальные власти, власти округа или штата. Точно так же дело обстоит и после разгонов демонстраций. После гибели четырех студентов во время демонстрации в Кентском университете федеральное правительство распорядилось провести расследование. Департамент юстиции вслед за этим опубликовал доклад ФБР, где был сделан вывод: национальным гвардейцам, разгонявшим демонстрацию, не было необходимости стрелять в студентов, так как ни одного из стрелявших не задели камни, которые кидали студенты. Более того, ФБР рекомендовало привлечь шестерых поименно перечисленных национальных гвардейцев к ответственности за убийство второй степени.[9] В таких условиях трудно себе представить, что вооруженное восстание — единственно возможный в Соединенных Штатах образ революционной деятельности, что необходимо полностью порвать с «истеблишментом» без всяких надежд на переговоры и что нужно «победить или погибнуть» по сценарию, разработанному в девятнадцатом столетии для борьбы с такими абсолютистскими режимами, как монархии Габсбургов или Романовых. Если бы такой режим существовал в Соединенных Штатах, то у американских негров не было бы никакой надежды. Негры составляют всего одиннадцать процентов амери-

[9] Доклад ФБР широко распространялся прессой. Вспомним также массовые убийства в Сонгми: я не знаю ни одной страны, где военнослужащие или полицейские предавались бы суду за действия, совершенные «при исполнении служебных обязанностей», пусть бы даже судебное разбирательство кончалось их оправданием (которое притом еще и оспаривалось бы).

канского населения, из них лишь незначительная группа (от пяти до десяти процентов) поддерживает «Черных пантер» и разделяет их методы. Точно так же терроризм «Везерменов» — экстремистской группы левых студентов — принимается лишь двумя-тремя процентами всего студенчества. Американский марксизм-ленинизм и маоизм исходят фактически из ошибочного анализа, потому что в своем большинстве белые рабочие Америки политически консервативны; он ошибочен и потому, что деловой мир хочет реформ, а правительство в последние двадцать лет было на стороне негров и против местного расизма. В 1969 и 1970 годах американский Сенат дважды (при сильной поддержке республиканцев) нанес Белому дому унизительные поражения, отказавшись утвердить на пост членов Верховного суда рекомендованных президентом-республиканцем Никсоном кандидатов-южан.

Как ни парадоксально это звучит, Соединенные Штаты являются сегодня одной из наименее расистских стран в мире. Многие годы значительное по размеру негритянское меньшинство жило бок о бок с белыми, и борьба с расизмом, искоренение его и анализ его симптомов, выкорчевывание его из чужой души, равно как и из своей собственной, — все это часть повседневной американской действительности. Во многих других странах, напротив, наблюдается подъем массового расизма; например, многие шведы были просто вне себя, когда именно Соединенные Штаты назначили негра американским послом в Стокгольме (речь идет о после Холланде). Упомянем также французов, швейцарцев и англичан, которые вдруг, впервые в своей истории, обнаружили у себя дома крупные национальные меньшинства: североафриканцев, португальцев, ямайцев и сенегальцев. Проблема представляется весьма серьезной ввиду того, что исторически в социальных традициях этих стран не оказалось антител против заразы расизма; их там не больше, чем в социальных традициях тех восточноафриканских стран,

которые угнетают на своей земле миллионы эмигрантов из Индии. Американское правительство не смогло бы продавать оружие Южной Африке — как это делает французское правительство, — не вызвав мощного протеста со стороны широких слоев населения. И это не был бы, как во Франции, мгновенно забытый протест кучки интеллигентов.

Требования чернокожих американцев в конечном итоге — это больше культурные требования, чем классовые. В социальном классовом смысле негры сами разделены. Их главные проблемы — нищета гетто и культурное отчуждение. Последняя недвусмысленно высказывается теми четырьмя-пятью сотнями тысяч студентов-негров (из общего числа студентов в 7 миллионов), которые не только массами устремляются в университеты (куда они-таки и попадают благодаря щедро раздаваемым стипендиям), но и, уже обучаясь в них, желают получить образование, ничуть не похожее на науку, преподаваемую белым. Негритянские студенты и знать не хотят о «белой литературе», о «белой науке», о «белой истории» или о «белом театре»; они не хотят белых учителей и профессоров — позиция, которая в будущем может привести к серьезным взрывам в Америке.

В американском обществе «черный» марксизм-ленинизм не способен стать ни политически действенным, ни средством интеллектуального просвещения. Но, если уж на то пошло, то же относится и к марксизму-ленинизму, исповедуемому белыми. Неудивительно, что в «теоретических» трудах лидеров «йиппи» («Валяй!» Джерри Рубина и «Лишь бы революции!» Эбби Гофмана) ребячество соперничает с непоследовательностью. Не следует удивляться и тому факту, что американских «марксистов» особенно привлекает Мао, чьи расплывчатые лозунги дают возможность не утруждать себя серьезным анализом. Суть маоизма — это краткое изложение марксизма-ленинизма, приукрашенного народной нравоучительностью, вроде: «Мы добиваемся

прогресса тогда, когда мы скромны» или «Самое трудное поступать правильно на протяжении всей жизни». Есть и трюизмы, типа: «Армия без культуры — это невежественная армия» или «Односторонее рассмотрение — это неумение взглянуть на вопрос со всех сторон». Мао не теоретик, или, по крайней мере, он не оригинален. Его немногочисленные теоретические работы, такие, как «О практике», «О противоречии», сводятся к популяризации и упрощению ленинской работы «Материализм и эмпириокритицизм». Эти работы, как и все другие написанные им тексты, являются результатом обстоятельств и борьбы и предназначены для оказания влияния на те или иные тенденции как внутри, так и вне китайской компартии. Ленинско-сталинская идеология, однажды усвоенная Мао, никогда не переосмысливалась им. Когда кажется, что он создает собственную идеологию, на самом деле он совершает тактический маневр. Как и все коммунисты, он любит облекать мельчайшие детали в абстрактную фразеологию. В 1929 году, когда ему нужно было, чтобы армия оставалась в деревне и не ушла в города, чтобы она была под рукой, Мао написал резолюцию, озаглавленную «Устранение ошибочных концепций в партии». Среди этих ошибочных концепций значились «субъективизм», «склонности к путчизму» и «индивидуализм», главным при этом был «вкус к удовольствиям», который проявлялся в желании «наших войск уйти в большие города». Даже теория «ста цветов», как бы привлекательно она ни формулировалась, на самом деле не является теорией. Она была написана в 1957 году с тем, чтобы утихомирить тех, кто требовал большей свободы дискуссий в партии, используя для обличения авторитаризма события в Венгрии. В этой работе Мао *одобрил* подавление восстания в Будапеште. Он сделал чисто риторические уступки недовольным членам партии, но сразу же после этого взял их назад с помощью жесткого тезиса о «правильном мышлении».

В выступлении Мао в 1957 году, которое называлось

«О правильном разрешении противоречий между народами» и в котором впервые прозвучал лозунг «Пусть расцветают сто цветов», так же как и в более ранних работах, таких, как «О народной демократической диктатуре» (1949 г.) и «Против шаблона в партийном стиле работы» (1942 г.), аргументация одна и та же: в партии есть свобода дискуссий. Но практически возражения против партийной линии исходят из двух источников — от врагов революции (такие не имеют права выражать свое мнение) и от искренне верящих в революцию (а такие никогда не должны расходиться с партией). Таким образом, авторитарные методы демократического централизма становятся совершенно законными, а среди народа «свобода пропорциональна дисциплине». Тот же метод используется и в философских вопросах: можно критиковать партию, потому что «марксизм не боится критики», и если «марксизм может быть побежден критикой, то такой марксизм ничего не стоит». Поэтому, раз марксизм неуязвим, всякая критика его бесполезна. Так зачем вообще пытаться? В литературе и искусстве также позволено расцветать «ста цветам», но не следует путать цветы с сорными ядовитыми травами; в результате Мао быстро приспособил систему контроля культуры, идентичную ждановской. Идея «культурной армии» давно возникла в работах Мао. И здесь он не новатор: культура всегда является отражением политической и социальной реальности. По завершении экономической революции, следовательно, наступает очередь революции культурной. Этот взгляд полностью соответствует воинствующему ленинизму без всяких отклонений. Я не собираюсь давать политических оценок тому, что касается Китая. Отмечу только, что рассмотрение текстов Мао заставляет меня сделать вывод: в философском отношении «маленький красный писатель» не существует; не существует ни «китайской разновидности» марксизма, ни «мыслей Мао».

Самое худшее, что может произойти с «Движением

за свободу слова» в Америке, — это принятие им идеологии прошлого столетия и подчинение его созидательных сил догмам концепций, возникших в «доисторический период» современной революции. Сила американского Движения заключалась до сих пор в том, что оно могло находить такие формы, которые отвечали его условиям и которые были эффективными на всех уровнях борющегося общества. Если этому революционному вдохновению позволить увязнуть в теоретических мусорных свалках Европы, где больше времени уходит на выяснение возможности совершить немарксистскую революцию, чем на совершение революций вообще, то оно ослабнет и исчезнет. Позволю себе повторить: революция — это не имитация. Это не сведение счетов с прошлым, а предъявление счета будущему. Американские революционеры это понимают; своей оригинальностью они отличаются от Европы, как бы этот факт ни был неприятен европейцам, считающим себя более левыми, чем американцы, и особенно более левыми интеллектуально. Именно по этой причине американская молодежь сегодня *творит* революцию, вместо того чтобы (и до того как) выработать ее концепцию. Как заметил Ноам Хомски: «Самый глупый человек может научиться говорить, тогда как даже самая умная обезьяна никогда этому не научится».

Я не собираюсь утверждать, что классические формы социальной борьбы не существуют в Америке. Белые рабочие Соединенных Штатов гордятся своей борьбой, а профсоюзные забастовки обычно очень упорны и часто продолжительны. Есть, однако, два явления, которые отпугивают белых рабочих: культурная революция и «Власть черных». Когда мэр Чикаго Дэйли издал распоряжение, фиксирующее определенный процент черных рабочих, которых обязательно должны нанимать на каждое строительство, белые рабочие расценили это как привилегию для негров. На самом деле в современном промышленном обществе белый рабочий находится в странном положении. Он не испол-

няет той роли. которую в девятнадцатом веке Маркс определил для рабочего класса; он скорее представляет собой эквивалент французского крестьянина девятнадцатого века в обществе двадцатого века. В работе «18 брюмера Луи-Наполеона Бонапарта» Маркс выразил свое презрение крестьянину, который, будучи заинтересован только в защите своего клочка земли (ставшего его долей завоеваний революции 1789 года), голосовал против городского пролетариата за человека, пообещавшего «закон и порядок».[10] Американский «синий воротничок», которому хорошо платят по сравнению с рабочими других стран мира, отнюдь не свободен от всех материальных забот. Но разве французский крестьянин того времени был от них свободен? Тот факт, что и у него были материальные заботы и что условия его жизни иногда были ужасными, не помешал ему регулярно становиться на сторону консервативных сил. Рабочие промышленной Америки значительно менее покорны, чем французские крестьяне, но они в такой же мере напуганы экстремизмом, причем всеми его видами. Результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа летом 1969 года, показали, что рабочие одинаково против «Власти черных» и Ку-Клукс-Клана; 75 процентов опрошенных относились «крайне враждебно к обеим группам».

Что касается так называемого «молчаливого большинства», дать оценку ему самому и его мнению представляется сложным. Прежде всего, является ли оно на самом деле большинством? По материалам журнала «Тайм» (от 5 января 1970 г.) эта социально-психологическая категория охватывает около 100 млн. американцев, включая 40 млн. рабочих и фермеров,

[10] Следует помнить, что Великая французская революция не была революцией промышленной буржуазии против аристократии (такая революция произошла спустя сорок-пятьдесят лет), а была аграрной революцией, которая прежде всего отменила тысячелетний порядок владения землей и раздала ее в пользование тем, кто ее обрабатывал

20 млн. пенсионеров и 36 млн. «белых воротничков» (служащие). Во что верит средний американец? Некоторые опросы указывают на совершенно определенную неприязнь к студенческим беспорядкам, на серьезную озабоченность проблемой соблюдения законности и общественного порядка. Даже в этом случае такая озабоченность выражена здесь слабее, чем во Франции. Опрос общественного мнения[11], проведенный IFOP в то время, когда на голосование был поставлен закон «anti-casseur»[12] (утверждающий немыслимый в Америке принцип коллективной ответственности), показал, что 65% взрослых французов стоят за принятие авторитарных мер для подавления беспорядков среди студентов университетов и старшеклассников.[13] Социолог Колумбийского университета профессор Амитаи Этциони после исследования проблемы летом 1969 года сделал следующий вывод: убеждение, будто Америка движется вправо, сильно преувеличено. По мнению профессора Этциони, «практически страна на 65 процентов настроена либерально, 21 процент населения — сторонники средней линии, 14 процентов настроены реакционно». (Под термином «либеральный» понимается согласие с вмешательством правительства в вопросы общественного прогресса.) Эта раскладка, видимо, подтверждается тем фактом, что, несмотря на обилие разговоров о «законе и порядке», все крупные либеральные законодательные начинания последних лет либо уже увенчались успехом, либо на подходе к этому: например, Билль о правах 1964 года (избирательные права для негров), законы о десегре-

[11] Опубликован во «Франс-Суар» от 3 марта 1970 г

[12] Закон, направленный против новых форм насилия и преступности

[13] В опросе SOFRES, опубликованном в «Фигаро» от 21 апр. 1970 г, содержались следующие данные за то, чтобы сперва вступить в дискуссию и перейти к репрессиям только после ее неудачи, — 52%, за репрессии без дискуссий — 24%.

гации школ, поправку к конституции о предоставлении равноправия женщинам (1970 г.), снижение возрастного избирательного ценза до 18 лет, более либеральные законы о разводе, абортах, материалах эротического содержания и т.д. Негры являются мэрами нескольких крупных городов: Вашингтона, Кливленда, Ньюарка. И, наконец, можно отметить, что попытки «молчаливого большинства» организовать общенациональные демонстрации протеста против моратория регулярно не достигают цели.

Заявляя, будто американский Средний Запад представляет «настоящую» Америку, следует отметить, что хоть эта Америка, быть может, и «настоящая», но в смысле географическом она являет собой пустыню. Если взглянуть на карту плотности населения Соединенных Штатов, можно обнаружить, что бóльшая часть населения сосредоточена на Восточном и Западном побережьях, на юго-западе и в четырех штатах, расположенных на Великих Озерах: Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо, тогда как «бастионы реакции» — Айова, Небраска, Канзас, Оклахома и две Дакоты — предстают фортами без гарнизонов. Трудно себе представить, каким образом Вайоминг или Айдахо с плотностью населения соответственно в два и шесть человек на квадратную милю смогут возглавить крестовый поход для отвоевания студенческих городков Америки. Барри Голдуотер, последний кандидат в президенты, выступавший с правой платформы и имевший шанс быть избранным, был побежден самым сокрушительным большинством голосов в истории президентских выборов в Америке.

Конечно, ни в одной стране нельзя исключить возможности проявления тенденции к авторитаризму. Однако можно сказать, что прошедшее десятилетие не дало указаний на изменение направления политического развития Соединенных Штатов, хотя беспорядки, мятежи, значительные перемены в стиле и принципах жизни, усиление всякого рода требований, вполне

естественно, вызывают страх, недоумение, неприятие и злобу тех, кто оказывается пленником новой Америки, стать создателями которой у них не хватило воображения.

* * *

Никогда, ни в одной стране, общественное мнение, как бы хорошо информировано оно ни было (что едва ли когда-либо было), не отражало достаточно убедительно элемент протеста, в силу чего были бы разоблачены и осуждены правительственные махинации в области внешней политики, что создавало бы реальные политические проблемы. Общественное мнение может иногда обращаться против внутренних несправедливостей; но никогда еще оно не выступало против преступлений за пределами страны. Студенческие волнения в Америке прямо связаны с несогласием студентов Соединенных Штатов с политикой войны во Вьетнаме. И это не только позиция меньшинства, чему свидетельство — состояние, близкое к мятежу, сопровождавшее известие о вторжении в Камбоджу, а также сенатское голосование по вопросу об обязанности президента консультироваться с Сенатом, прежде чем посылать американские войска для участия в военных действиях за рубежом. Опрос общественного мнения 29 мая 1970 года показал, что 50 процентов американцев за вторжение в Камбоджу, а 43 процента — против. Была ли когда-нибудь в какой-либо стране такая значительная доля населения, отрицавшая действие, которое патриотизм традиционно преподносит как законное и почетное? Остается только гадать, какой процент французов выразил бы недовольство суэцкой экспедицией 1956 года или низвержением марокканского султана в 1953 году. Европа вполне обоснованно возмущалась американским вторжением в Доминикан-

скую республику в 1965 году, где гражданская война была в самом разгаре (которую, кстати сказать, не остановило присутствие американских войск). Хотелось бы, чтобы такое же возмущение было выражено во Франции четырьмя годами раньше, когда французская армия за несколько дней перестреляла шесть тысяч человек — военных и гражданских — в тунисском городе Бизерта. Французская печать возмущалась по поводу сброса Соединенными Штатами токсичных газов в океан, но ни печать, ни общественное мнение Франции нисколько не обеспокоены тем фактом, что, за исключением Китая, Франция является единственной страной, все еще взрывающей ядерные бомбы в земной атмосфере.

Только отрицание изнутри может уничтожить империализм. Еще ни один империалистический режим не был уничтожен извне, другим империализмом. Только разрушение империализма изнутри и использование силы, на которой он основывается, для достижения других целей можно будет считать прогрессом.

Интерпретация опросов в данной области представляет еще большую трудность, чем в вопросах внутренней политики. Осуждение войны вызывается разными мотивами; одни руководствуются моральными, идеалистическими соображениями, другие четко представляют себе, что назрела необходимость провести революцию во внешней политике и отказаться от традиционных представлений о суверенитете, третьи же просто эгоистичны, иными словами, настроены изоляционистски.[14] Однако остается фактом, что, как показывает проведенный недавно (конец июня 1970 г.) опрос общественного мнения, 56% американцев считают, что Америка неправа во вьетнамской войне, тогда как 36% считают ее правой (у 8% мнения нет). Учитывая, что война послужила причиной паде-

[14] См. «Молчаливое большинство и вьетнамская война» Ф. Конверса и Г. Шумана в «Сайентифик американ» за июнь 1970 г.

ния Джонсона, Никсон объявил 5 августа 1970 года, что все американские войска будут выведены из Вьетнама к концу 1972 года и что с 1 мая 1972 года они станут ограничиваться оборонительными действиями. После этого некоторые члены кабинета, а за ними и федеральные чиновники, выступили с протестами против президентского плана, упрекая его в затянутости.

Особое значение имеет тот факт, что американская молодежь изменила свое мнение относительно роли Америки в мире. Я согласен признать, что для многих людей в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке трудно найти разницу между деятельностью американского империализма и тем, что ему приписывают. «Империализм» часто служит козлом отпущения, и этим очень удобно оправдывать неудачи левых в различных странах, а также экономические и прочие провалы демократий. Например, действительно ли современная Греция только и ждала знака от ЦРУ, чтобы отдаться во власть диктатуры? Можно ли быть уверенным, что в Бразилии и Аргентине не было достаточно значительных правых сил, чтобы обеспечить там успех фашизма без помощи иностранных агентов? Может ли ЦРУ нести ответственность за приход к власти Порфирио Диаса, Муссолини, Салазара, Метаксаса, Петэна? Разве ЦРУ заставляет нас показывать по телевидению американские мультипликационные и многосерийные фильмы, различные «шоу», или же мы вынуждены делать это из-за собственной посредственности в этой области? Разве французское правительство прекратило субсидировать институт Пастера и разрешило его переход под покровительство Фонда Форда в результате давления ЦРУ? Или, может быть, это ЦРУ заставляет нас распускать наши собственные левые организации? Я меньше всего намерен защищать ЦРУ, но хотелось бы заметить, что, рассуждая о реакционности в политике и о полицейских режимах, мы зачастую переоцениваем способности этой организации и недооцениваем свои собственные.

Примечательно, что протесты против ЦРУ и империализма зарождаются среди американцев, и это указывает на существенное историческое изменение; точно так же было бы из ряда вон выходящим признаком гуманистической эволюции, если бы в СССР произошла хотя бы неудачная, но массовая демонстрация против вторжения в Чехословакию, против антисемитизма или вмешательства в дела Египта. Точно так же мы игнорируем тот факт, что это *мы*, европейцы, истребляли индейцев; *мы*, европейцы, продавали черных в рабство; *мы*, европейцы, начали процесс и разработали методы подчинения всех рас мира белому человеку. А сегодня мы хотим забыть, что сам факт существования белой Америки — это результат нашего захвата мира, иными словами — продолжение и распространение европейской колонизации на другие части света.

Сегодня в Америке — в этом детище европейского империализма — поднимается новая революция, революция нашего времени, объединяющая в себе радикальную, моральную и практическую оппозицию духу национализма, культуру, экономическую и техническую мощь и утверждающая полную свободу для всех вместо архаических запретов. Эта революция предлагает человечеству единственно возможный ныне выход: принятие технологической цивилизации в качестве средства, а не в качестве цели, и — так как нас не спасет ни ее уничтожение, ни ее продолжение — изменение этой цивилизации.

Нью-Йорк, 8 января —
Санта-Барбара, 11 августа 1970 г.